

Франсуаза САГАН

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СЕРДЦА

Неоконченный роман

Впервые на русском!

Четыре стороны сердца
Франсуаза Саган

Аннотация

Аннотация

«Четыре стороны сердца» – последний роман Франсуазы Саган, скончавшейся в 2004 году. Ее сын Дени Вестхофф обнаружил испещренный вставками и поправками машинописный экземпляр в архиве писательницы. Это роман, написанный в свободной, раскованной манере, с удивительным мастерством и вниманием к страстям человеческим. Присущие писательнице интеллект, чувство юмора и изящество стиля позволили ей передать драматические перипетии сюжета в такой живой и лаконичной манере, что читатель получает удовольствие, погружаясь в атмосферу этого незавершенного и тем самым будоражащего наше воображение повествования. Сын богатого промышленника Людовик Крессон, оправившись от последствий автокатастрофы, с удивлением сознает, что домашние взирают на него с опаской, как на нервнобольного, а любимая жена Мари-Лор и вовсе презирает его. Положение меняется, когда из Парижа прибывает красавица Фанни, мать Мари-Лор. Чтобы убедить

всех в выздоровлении Людовика, Крессоны затевают пышный прием в своем поместье, а страсти тем временем накаляются.

Франсуаза Саган. Четыре стороны сердца
Francoise Sagan. Les quatre coins du coeur

© Plon, 2019
© И. Я. Волевич, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство Иностранка®

* * *

Предисловие

Многочисленные переиздания книг моей матери, с того момента, как я в 2007 году вступил в права наследства, подарили мне почетную привилегию составлять предисловия к ее текстам, которые я отдавал многочисленным доброжелательным издателям; это «Скорость», «Здравствуй, Нью-Йорк», «Хроники 1954–2003», потом была книга «Моя мать — Саган», а еще позже — повесть «Отрава», которая скоро выйдет отдельной книгой. Похоже, издатели нашли в моем лице легкую добычу — добычу, которая тем не менее радовалась возможности выполнить этот новый литературный долг, хотя могу добавить, что подобная работа — не важно, была ли она связана с творчеством моей матери или нет, — неизменно являлась для меня увлекательнейшим занятием.

Разумеется, все книги, которые я представлял читательской аудитории, были уже многократно изданы и переизданы, а следовательно, читаны-перечитаны и, вероятно, снабжены предисловиями; однако надеюсь, что этот последний оммаж не приведет к тяжким последствиям, а может быть, и вовсе останется незамеченным.

Итак, когда издательство «Plon» сочло нужным поручить мне написание предисловия к роману «Четыре стороны сердца», я уже не слишком удивился оказанному в очередной раз доверию и только вечером, придя домой и слегка успокоившись, осознал весь объем задачи, которую взвалил на себя: она состояла в том, чтобы представить читающей публике ни больше ни меньше неизвестное произведение обожаемого автора — роман, чей выход в свет мог вызвать литературный циклон вкупе с медийным землетрясением.

Признаюсь честно: я даже не помню, каким образом эта рукопись попала ко мне. Кажется, это случилось через два или три года после того, как я вступил в права наследства, так что, когда я взял в руки папку с текстом, это показалось мне истинным чудом, ведь бóльшая часть достояния моей матери была давным-давно захвачена,

продана, раздарена или приобретена весьма сомнительными путями.

Рукопись (довольно тонкая пачка листков) была засунута в прозрачный файлик — в таких студенты держат свои рефераты — и состояла из двух частей: первая с заглавием «Четыре стороны сердца», вторая начиналась словами: «Парижский поезд прибыл на вокзал Тура в 16:10…» — и называлась «Убитое сердце» (окончательного названия роман не имел, и сейчас, когда я пишу эти строки, я еще не знаю, которое из названий мы выберем).

Текст представлял собой ксерокопию машинописи, причем явно снятую с последнего экземпляра. Вычеркнутые слова с бледными, расплывчатыми буквами, примечания и исправления, неизвестно кем сделанные и хаотично разбросанные по страницам, и тут же множество других документов и разных архивных справок, так что мне понадобилось некоторое время, прежде чем я понял, что имею дело с единым, цельным произведением.

Итак, в силу счастливого — а может быть, и несчастливого — стечения обстоятельств, я поначалу не очень внимательно отнесся к этой рукописи: мне даже в голову не приходило, что

речь идет о неизданном романе. Кроме того, в бумагах, оставшихся после кончины матери, царил полный хаос, и все мои мысли были заняты исключительно решением запутанных наследственных, налоговых и издательских проблем — особенно последних. Вспоминая все это сегодня, я понимаю, что поначалу отнесся к этому тексту с непростительной небрежностью, хотя потом он, даром что незавершенный, поразил меня своей чисто сагановской стилистикой — иногда откровенным бесстыдством, иногда причудливой тональностью и почти фантастической окраской своих перипетий; наверно, я отнесся к нему слишком беззаботно, то есть не придал ему никакого значения, надолго оставив «Четыре стороны сердца» в ящике письменного стола. Открытый финал этого романа так смутил меня, что я счел рискованным показывать рукопись людям, которым не слишком доверял.

Несколькими месяцами раньше я уже имел случай убедиться, что большинство парижских издателей бесцеремонно отказываются от переиздания произведений Франсуазы Саган, и начал опасаться, что ее творчество бесследно канет во мрак XX века. Но затем я познакомился с Жан-Марком Робертсом, человеком-провидцем, который

позже стал моим ментором в вопросах издания, касавшихся ее литературного наследия. Он руководил издательством «Сток» и согласился издать разом бóльшую часть из пятнадцати книг моей матери, которые я ему принес однажды апрельским днем на улицу Флерю. Мало того что он стал моим издателем — я скоро начал советоваться с ним как с другом и поэтому именно ему тайком доверил, спустя несколько недель, чтение этого романа, чья форма, настолько несовершенная, все-таки не оставляла сомнений в возможности его публикации. «Четыре стороны сердца» когда-то, независимо от нас, послужили основой для первой экранизации (чем и объясняется тот факт, что с текста сняли несколько ксерокопий), хотя этот проект так и не был осуществлен. Вот почему роман претерпел множество изменений, а вернее, был почти полностью переписан — видимо, чтобы вдохновить какого-нибудь модного сценариста. Но было понятно, что «Четыре стороны света» нельзя публиковать в таком виде, — содержание романа не выдерживало никакой критики и грозило скомпрометировать творческий облик моей матери.

Сначала у нас с Жан-Марком возникла идея отдать роман на переработку какому-нибудь

современному писателю, достойному этой задачи. Однако рукопись, в которой порой были опущены некоторые слова, а то и целые абзацы, выглядела настолько несовершенной, что мы очень скоро отказались от этого проекта.

Итак, текст по-прежнему пребывал в безвестности, что не помешало мне в течение последующих месяцев вчитываться в него с возрастающим вниманием. Интуиция подсказывала, что только я один могу переписать эту книгу, что этот роман непременно должен быть издан, каково бы ни было его состояние, ибо он представляет собой пусть и несовершенную, но все же важную часть творческого наследия моей матери. Я считал, что все, кто знал и любил Саган, имеют право познакомиться с ее творчеством в полном объеме. Итак, я взялся за работу и внес в текст необходимую правку, стараясь не нарушать стилистику и тональность романа. Чем дальше, тем больше я убеждался в тех качествах, которые отличали Франсуазу Саган, — в абсолютной раскованности, духе независимости, остром юморе и дерзости, доходящей до сарказма.

Через шестьдесят пять лет после выхода в свет романа «Здравствуй, грусть!» и десять лет беспокойного полусна этой последней, незаконченной

книги, «Четыре стороны сердца» наконец увидели свет в своей почти оригинальной, почти нетронутой редакции, на радость читателям Саган.

Дени Вестхофф

1

Терраса Крессонады, с четырьмя платанами по углам и шестью светло-зелеными скамейками, выглядела вполне импозантно. Да и само здание, вероятно, некогда было прелестным старинным провинциальным особняком, который теперь уже не выглядел ни прелестным, ни даже старинным: дом, украшенный более поздними башенками, внешними лестницами и балконами с коваными перилами, соединял в себе два века дорогостоящей безвкусицы, опошлявшей солнце, деревья, серый гравий аллеи и газоны — словом, весь свой антураж. Крыльцо с тремя низкими серыми ступенями и перилами в средневековом стиле завершало этот парад уродства.

Тем не менее двух людей, сидевших на скамье против дома, каждый на своем крае, это, казалось, ничуть не коробило. Часто бывает легче созерцать уродство, чем красоту и гармонию, — эти требуют времени на анализ и восхищение. Во всяком случае, Людовик и его жена Мари-Лор, казалось, были вполне равнодушны к этой архитектурной какофонии. К тому же они вообще не смотрели на свое жилище, игнорируя его; они разглядывали свои туфли. И хотя их красивая обувь вполне заслуживала внимания, в людях,

чей взгляд не ищет чье-нибудь лицо или какой-нибудь пейзаж, есть нечто болезненное.

— Тебе не холодно?

Мари-Лор обратила на мужа вопрошающий взгляд. Наделенная прелестным личиком с выразительными сиреневыми глазами, чуточку капризным ртом и очаровательным носиком, она покорила немало мужских сердец, перед тем как выйти замуж, причем довольно поспешно, за бодрого, пышущего здоровьем молодого человека по имени Людовик Крессон — отчасти плейбоя, отчасти лентяя, на которого ввиду его богатства и добродушного нрава охотились все девушки Шестнадцатого округа… Сразу было видно, что из Людовика Крессона, даром что безумно увлекавшегося женщинами, выйдет верный супруг. Увы, все его достоинства, за исключением денег, обернулись в глазах Мари-Лор почти недостатками. Сама она была не слишком образованна и привержена культуре, однако благодаря смеси начитанности в духе времени, обрывков знаний и необходимых табу приобрела полезный лоск и завоевала в своем кругу репутацию женщины острого ума, исключительно современной. Она хотела править своей судьбой — иными словами, судьбой окружающих; хотела, по ее собственно-

му выражению, «жить своей жизнью». Но при этом не знала, что такое жизнь и чего ей хотелось — помимо роскоши. На самом деле она желала, чтобы ее баловали, и была твердо уверена, что сумеет блистать в свете и своими драгоценностями (весьма дорогими), и состоянием отца Людовика — Анри Крессона (прозванного в его родной Турени[1] «пернатым хищником»).

* * *

Излишне объяснять — ибо это вполне ясно, — по какой причине старый завод и стены старого дома получили название Крессонада. Зато гораздо сложнее, да и скучнее, было бы объяснить, каким образом сами Крессоны нажили свое состояние на кресс-салате, горошке и прочей овощной мелочи, которую и доныне экспортировали по всему миру.

Этот неинтересный сюжет потребовал бы — по крайней мере, от автора — больше воображения, чем памяти.

— Ты не замерзла? Хочешь, возьми мой свитер?

Мужской голос, прозвучавший рядом с Мари-Лор, был от природы мягким и приятным, но прозвучал слишком вопросительно и чересчур

заботливо для такого пустячного повода. Поэтому молодая женщина недоуменно заморгала и отвернулась, выразив этим нечто вроде легкого пренебрежения к свитеру своего супруга (на который мельком взглянула).

— О нет, спасибо, мне проще пойти домой. Да и тебе тоже — не хватало еще, чтобы ты сейчас вдобавок ко всему подхватил бронхит.

Она встала и спокойно направилась к дому; гравий дорожки поскрипывал под ее модными туфельками. Даже здесь, за городом, даже в полном уединении Мари-Лор демонстрировала неизменную элегантность и *up-todate*[2], чего бы это ни стоило.

Муж проводил ее восхищенным… и вместе с тем чуточку враждебным взглядом.

* * *

Следует сказать, что Людовик Крессон только-только оправился после пребывания в нескольких лечебницах, куда его привело ДТП — настолько тяжелое, настолько опасное, что ни врачи, ни любящая жена не надеялись, что он выживет.

Подаренный мужем на день рождения маленький спортивный автомобиль, который вела Мари-Лор, врезался в затормозивший грузо-

вик, и со стороны пассажирского сиденья был буквально располосован стальными листами, сложенными в кузове означенного грузовика. Голова Людовика осталась, с точки зрения эстетики, практически невредимой, Мари-Лор вышла из этой катастрофы без единой царапины, что на лице, что ниже, а вот тело Людовика оказалось рассеченным во многих местах. Он впал в кому, и врачи полагали, что через день, от силы через два он покинет сей бренный мир.

Однако все части этого, от природы крепкого тела — легкие, плечи, шея, — отвечающие за внешнее и внутреннее здоровье своего простодушного владельца, оказались гораздо изворотливее и жизнеспособнее, чем можно было ожидать. И пока родные уже планировали похороны и выбирали музыку для этой скорбной церемонии, пока Мари-Лор уже готовила для себя вдовий наряд, в высшей степени элегантный (очень простой и дополненный пластырем на виске — совершенно ненужным), пока Анри Крессон, разъяренный этой нежданной помехой одному из своих планов, пинал ногами мебель и осыпал проклятиями служащих, пока его жена Сандра, мачеха Людовика, демонстрировала всегдашнее, угнетающее достоинство больной, прикованной

к постели, — сам Людовик упорно боролся со смертью. И по прошествии недели, к всеобщему изумлению, вышел из комы.

Общеизвестно, что некоторые врачи куда больше доверяют своим диагнозам, чем пациентам. Людовик вызвал сильное раздражение самых знаменитых медицинских светил, по традиции собранных у постели сына Анри Крессоном из Парижа и прочих мест. Легкость, с которой раненый вернулся к жизни, оскорбила этих господ до такой степени, что им оставалось только одно — обнаружить что-нибудь очень опасное у него в мозгах. Этого — вкупе с его молчанием — хватило, чтобы поместить больного сперва под простое наблюдение, затем в более специализированную лечебницу — психиатрическую. Он демонстрировал затуманенное сознание, выглядел неадекватным, а значит, считался душевнобольным, и его несокрушимое физическое здоровье только подкрепляло это убеждение.

Целых два года Людовика, по-прежнему безмолвного и пассивного, переводили из одной психиатрической клиники в другую и даже отправили в Америку на лайнере, буквально связанного по рукам и ногам. Родные каждый месяц летали навестить его, чтобы посмотреть,

как он спит, или подбодрить «идиотской», по их выражению, улыбкой, перед тем как быстренько вернуться на родину. «Я не в силах переносить это зрелище!» — стонала Мари-Лор, сидя в такси и выдавливая из себя фальшивую слезу, поскольку никто из ее спутников даже не пытался пролить таковую.

Впрочем, с одним исключением — когда мать Мари-Лор, очаровательнейшая Фанни Кроули (которая незадолго до этого овдовела и искренне оплакивала своего супруга), также отправилась навестить зятя, хотя, вообще-то, никогда его особо не жаловала. Ковбойские замашки и прочный оптимизм Людовика раздражали многих, очень многих мало-мальски чувствительных женщин, притом что он нравился многим, очень многим другим женщинам — что называется, «с огоньком». Итак, Фанни навестила того, кого прозвала «ковбоем»: он полулежал в кресле, с привязанными к нему руками и ногами, ужасно исхудавший, но при этом ужасно помолодевший, и выглядел таким беспомощным, таким уязвимым и абсолютно неспособным отказаться от всех психотропных препаратов, которые ему кололи в вену с утра до ночи, что Фанни Кроули не выдержала и заплакала. Она плакала так горько,

что даже заинтриговала Анри Крессона и побудила его согласиться на серьезный приватный разговор с ней.

К счастью, именно тогда Анри Крессон случайно побеседовал с директором клиники — вероятно, самой дорогой во Франции и наверняка самой бесполезной. Этот высокопоставленный эскулап безапелляционно объявил Анри, что его сын никогда, никогда не поправится. Однако эта уверенность вызвала сомнения и ярость Анри Крессона, настолько же гениального в деловой сфере, насколько некомпетентного в сфере чувств (коих он не испытывал или, вернее, испытывал лишь в отношении своей первой жены, матери Людовика, умершей в родах). И вдруг он с испугом увидел, как эта красивая, элегантная моложавая дама, до сих пор не утешившаяся, как он знал, после смерти мужа, плачет над зятем, которого она не любила; ее слезы убедили его, что пора покончить с этой пыткой. Он вернулся к директору клиники и обошелся с ним так круто, что этот господин передумал — даже при своих сумасшедших ценах на лечение — удерживать у себя пациента, чья семья отнеслась к нему с таким презрением.

Месяц спустя Людовик вернулся в Крессонаду,

где повел себя совершенно нормально после того, как выбросил все пузырьки с лекарствами, один за другим, в мусорную корзину. Он выглядел приветливым, чуточку отстраненным, чуточку беспокойным — и много бегал. Именно так: он проводил большую часть дня, бегая в огромном парке, точно ребенок, которому вернули подвижность, иными словами — пытаясь хоть как-то вновь приобщиться к миру взрослых. Разумеется, не было и речи — впрочем, такой вопрос никогда не вставал и ранее — о том, чтобы он начал работать на заводе, принадлежавшем отцу, чьего богатства с лихвой хватило бы на всех, даже если бы Людовик не подыскал себе какое-нибудь скромное занятие, чтобы зарабатывать на жизнь в любом месте Европы (вариант, который Мари-Лор на самом деле давно мечтала осуществить — с мужем или без него).

Его возвращение стало для нее подлинной катастрофой. Она очаровательно выглядела в роли вдовы, но оказаться «женой дебила» — как она это охотно называла в беседах с близкими друзьями (теми, кто вел весьма свободную светскую жизнь) — совсем другое дело. И Мари-Лор начала ненавидеть этого молодого человека, которого доселе кое-как терпела и даже питала к нему

что-то похожее на любовь.

Тем не менее душевные порывы, любовь и страсть Людовика очень скоро начали ее раздражать. Ибо Людовик страстно любил женщин и романтически любил любовь — быть может, единственное искусство, которое практиковал с подлинным мастерством и вниманием к предмету своих чувств. Пылкий и ласковый, он был поистине очарователен, и все парижские жрицы любви (весьма многочисленные), знавшие его прежде, до сих пор нежно любили его.

* * *

Итак, Людовик быстро восстанавливался под наблюдением единственного врача — деревенского доктора, практиковавшего во владениях Анри Крессона. Этот врач, даром что не светило, сразу же после несчастного случая заявил, что его пациент, пусть и переломанный, израненный и беспомощный, тем не менее никакой не сумасшедший. И верно: никто не мог уловить в его поведении ни малейших признаков нервозности, функционального или психологического расстройства. Он просто не проявлял никакого внимания или интереса к будущему и, казалось, чего-то ждал — с некоторым страхом. Но чего именно? Или кого? Увы, никто из окружающих

не задавался этим вопросом всерьез, ибо никто в этом доме не проявлял заботы ни о ком, кроме самого себя.

* * *

Дойдя до нелепого низкого крыльца, Мари-Лор устало положила руку на перила, но ей тут же пришлось почти вспрыгнуть на три ступеньки вверх, чтобы спастись от гравия, брызнувшего фонтаном из-под колес машины, которая с визгом затормозила прямо у ее ног; она бы содрогнулась или завопила, не будь за рулем ее свекр. Анри Крессон решил, что его шофер стареет и пора ему самому научиться водить автомобиль, — подлинная катастрофа и для животных, и для знакомых водителя, когда те попадались ему по дороге.

— Господи боже, это вы, отец, а где же ваш шофер? — холодно спросила Мари-Лор.

— Аппендицит, — весело ответил Анри Крессон, выбираясь из машины, — приступ аппендицита… прописан отдых.

— По-моему, за нынешний год это уже четвертый…

— Да, но он этим очень доволен. Выплаты по страховке и так далее, плюс зарплата; этот тип наслаждается бездельем и ложится в постель, как только его прихватывает, — он ужасно бо-

ится «скорой помощи», страховщиков и еще бог знает чего.

— Это вам следовало бы бояться.

— Бояться? Чего? Проходите, дорогая невестка, проходите, прошу вас.

Она терпеть не могла, когда он величал ее «невесткой», а он не лишал себя этого удовольствия, невзирая на упреки своей половины, величественной Сандры, которой удалось выбраться на крыльцо, дабы любезно встретить супруга, тогда как обычно она сидела у себя в спальне.

У Сандры Крессон, урожденной Лебаль, была одна, главная забота в жизни — супружеский долг. Давняя соседка Анри Крессона, не уступавшая ему ни по количеству гектаров своих владений, ни по богатству, она вышла замуж за этого вдовца, которого считали скорбящим, просто из страха одиночества. Ей казалось, что она вступает в брак с промышленником, человеком мирного нрава, — увы, она столкнулась с бешеным быком, которого, на ее беду, ничуть не интересовала светская жизнь. И напрасно она надеялась принимать гостей в просторных залах Крессонады — чаще всего ей приходилось избегать молниеносных появлений и исчезнове-

ний своего супруга в его уродливой гостиной. И это после того, как другие обитательницы дома успели — еще до Сандры — утвердить здесь свое превосходство.

Оба брата Анри Крессона погибли на войне 1939–1940 года. («Вот придурки! — весело восклицал Анри. — Первая мировая хотя бы делала из людей героев, но эта!..») Их вдовы довольно скоро покинули дом, замученные властным деверем, хотя он щедро осыпал их деньгами, лишь бы оставили его в покое. Но перед этим они все же успели декорировать гостиные и еще несколько комнат, придав этому дому, и без того нелепому, невообразимое, катастрофическое уродство; и теперь никто уже не осмелился бы фотографировать гостиную Крессонады с ее марокканскими каминами — вклад одной из вдов, испанским стилем от второй и восклицательными знаками в виде мраморных статуй — идеей Сандры, страстно увлекавшейся греческим искусством.

Вклад Сандры в украшение дома выразился в том, что она разыскала в деревне по соседству с Крессонадой скульптора, до той поры ваявшего подобия кладбищенских надгробных статуй, и самым решительным образом приобщила его к древнему искусству Греции и Рима, приказав

скопировать, в разных габаритах, Венеру Милосскую и Нику Самофракийскую; эти шедевры она расставила в необъятной гостиной как вызов — или упрек. Будучи и сама куда ближе к каменным изваяниям, нежели к человеческим существам, Сандра Крессон — толстощекая, мускулистая и невозмутимая во всех жизненных перипетиях — вполне могла бы составить компанию своим статуям, от коих не отличалась ничем, кроме разве что наличия одежды.

— Гляди-ка, вот и моя жена, полный комплект баб! — рявкнул Анри, срывая с шеи позорящий его шарф.

— Не понимаю, что тут удивительного! — воскликнула Мари-Лор.

— Да не то удивительно, что вы здесь торчите, и одна и другая, — парировал Анри, — а то, что я еще жив — между двумя особами, такими… такими… как бы это сказать… такими живучими, да, именно так — живучими…

— А вы сами разве не такой?

Голос Мари-Лор, которому она хотела придать саркастический оттенок, прозвучал довольно пронзительно. И Анри, оставив позади обеих разъяренных женщин, быстрым шагом направился к уродливой гостиной, успев обойти

саквояж, брошенный кем-то прямо посреди коридора, и пнуть его прямо на ходу.

— Это еще что такое?

— Это мой брат, представьте себе, дорогой друг. Мой брат Филипп, он приехал к нам на несколько дней.

— Ну надо же, миляга Филипп у нас в гостях!

Многочисленные недостатки Анри Крессона, скорее, являлись отсутствующими достоинствами: он был не таким уж злым или скупым — просто никогда не старался казаться любезным или щедрым и притом выказывал полнейшее равнодушие к суждениям окружающих. На самом деле он был от природы довольно гостеприимным, и присутствие мужчины — настоящего мужчины, ибо родной сын казался ему теперь скорее ангелом или призраком, — хоть как-то утешало его.

— Наш дорогой старина Филипп… Давненько мы его не видели. Хотя… ну да, три недели назад… Надеюсь, он в добром здравии и не страдает от «любовных» напастей.

Он особо подчеркнул слово «любовные», зычно расхохотался и вошел в гостиную, оставив за спиной уязвленных женщин.

* * *

Анри женился на Сандре вскоре после кончины своей жены, которую — это было общеизвестно — очень любил, хотя никогда не признавался в этом; он так и не оправился от этой потери. После свадьбы он целых две недели «оказывал внимание» Сандре, после чего слегка забыл о своем супружеском долге и удостаивал ее «вниманием» лишь эпизодически. Сандру, отличавшуюся слабым здоровьем, эта забывчивость вполне устраивала.

Разумеется, в этой туренской глуши не было недостатка в женщинах, которые с самого начала могли бы сообщить Сандре о похождениях ее благоверного. Тем не менее, невзирая на их множество и кипучую энергию, Анри Крессон ни разу не огорчил жену похвальбой или признанием в своих забавах на стороне. Он «наведывался в Париж», как тогда выражались, и возвращался взбодренным, но помалкивал, считая, что скрытность — наименьшее из зол по отношению к супруге, которую ничем не мог реально осчастливить.

Эти отлучки были также единственным, что связывало его с сыном. Людовик тоже «наведывался в Париж», правда лишь ради занятий в

Высшей коммерческой школе — безрезультатных, но обязательных; его незнание женщин к восемнадцати годам объяснялось главным образом изоляцией и пребыванием в коллеже, куда его заперли вместе с другими несчастными провинциальными мальчишками. И это полное незнание определенной стороны жизни смутно беспокоило его отца. Тем более что через пару месяцев он получил кипу счетов из цветочного магазина, с самыми разными адресами, что привело его в ужас. Он вообразил, что Людовик сдуру влюбился в какую-то парижскую девицу и сделал ей ребенка или еще что-нибудь в том же роде. Отец, в свою очередь, «наведался в Париж» и с изумлением констатировал, что эти цветы, эти букеты посылались самым разным проституткам, оказывавшим любовные милости его сыну. Утешенный, но не успокоенный — на сей раз интеллектуальными достижениями своего единственного чада, — Анри разъяснил ему, что так не делают. Потом, сидя за обедом, вдруг задумался: а почему, собственно, не делают, почему бы не посылать цветы женщинам, которые тебе отдаются, вместо того чтобы тратиться на букеты для юных девиц из почтенных семей, которые тебе в этом отказывают?!

— Ладно, живи как хочешь, — объявил он в конечном счете.

И его отпрыск, в полном восхищении, продолжал демонстрировать шлюхам свои прекрасные манеры. Только позже, встретив Мари-Лор, он почувствовал себя несчастным — влюбленным и несчастным, — более озабоченным чужой, а не своей собственной жизнью, но не таким уж несчастным оттого, что не разделял жизнь предмета своей любви.

Эта любовь была не так уж важна для Мари-Лор, разве что в той части, что касалась ее самой. А ведь ее собственные родители — Квентин и Фанни Кроули — всю жизнь любили друг друга, показывая дочери пример идеальной близости, страсти и нежности. Тем не менее Мари-Лор явно презирала их за это. Да и сами они как будто инстинктивно сторонились дочери, более того — побаивались ее.

Гибель Квентина в авиакатастрофе привела Фанни Кроули в полное отчаяние. Она исчезла с глаз окружающих, с ее лица исчезла улыбка, из голоса исчезла радость, и вся жизнь исчезла из нее самой. Недостаток денег заставил бедняжку искать работу, и она нашла ее — с помощью

друзей — в доме высокой моды, где мало-помалу врожденная мягкость, любезность и внимание к людям обеспечили ей достаточно надежное положение, чтобы прокормить их с дочерью. Однако Мари-Лор этого было мало, и Людовик сразу стал ей интересен.

Если сам он не уловил связи между этими двумя событиями — смертью одного мужчины и интересом к другому, — то лишь потому, что не пожелал этим озадачиваться; даже Фанни и та отвела глаза, когда он попросил руки ее дочери; даже его друзья тут же заговорили о другом, поздравив его так небрежно, словно он собрался куда-нибудь уезжать — например, в Африку, на военную службу. Словно ему оставалось лишь очнуться и отменить свое решение. Людовик ясно это почувствовал, но не стал вникать в их резоны, ибо он обезумел от любви. А Мари-Лор в этот момент хватило ума или рассудочности, чтобы удержать своего воздыхателя, проявить к нему внимание и сделать так, чтобы никакая другая девушка, никакая другая женщина не завладела нежным, чувствительным, богатым бездельником Людовиком Крессоном. Впрочем, тот, изголодавшись по родительской любви в детстве, а по женской — в отрочестве, на самом

деле был легкой добычей; он грезил о любви, как нелепый Тристан былых веков.

Однако это безоглядное чувство, которое обеспечивало ему успех у большинства друзей, обеспечило ему же полное и решительное презрение Мари-Лор. Она смотрела на жизнь как на борьбу. Одному из них надлежало взять в их семье бразды правления, и это будет Мари-Лор, только она одна. Физическая любовь вызывала у нее брезгливость, скуку и боязнь, хотя идеальный любовник, каким был Людовик, демонстрировал чудеса пылкости, терпения и нежности, мечтая о том, чтобы создать с Мари-Лор супружескую пару, подобную ее родителям, — пару, где один опирался на другого, пару, состоявшую из двух половинок, как яблоко Платона[3], но навеки слитых воедино.

2

Лестница зазвенела под четкими, размеренными шагами: одна ступенька — так! Две ступеньки — так-так! Площадка — так-так-так-так! — Казалось, сама юность шествует под мерное насвистывание (хорошего вкуса, ибо это была мелодия Фреда Астора[4]). Следующие два марша — и юность набрала еще лет тридцать, приняв облик Филиппа Лебаля, очаровательного брата Сандры, который после долгой карьеры обольстителя и тунеядца все чаще и чаще наведывался к своему зятю Анри, — Филиппа Лебаля, который всегда ненавидел деревню, но вот уже лет пять как держал это мнение при себе.

Это был красавец-мужчина или, по крайней мере, бывший красавец, о чем он всегда думал либо с гордостью, либо с горечью, смотря по обстоятельствам. Высокий, стройный, аристократичный и мужественный, он недавно по милости судьбы лишился своих усиков à la Эррол Флинн[5], которые вылезли сами собой, избавив своего владельца от этого давно уже немодного украшения, но оставив ему привычку небрежно поглаживать то место, где они некогда произрастали. К двадцати двум годам Филипп Лебаль — красивый, богатый, хорошо воспитанный, пре-

тенциозный — уже вполне освоился в тех кругах общества, куда открывают доступ мужчинам его типа соблазненные ими глупые женщины из *«Jet People»*[6]. Он промотал свое наследство, ни с кем не поделившись; научился обольщать женщин, ни одну из них не полюбив, и годами повсюду жил гостем, не видя ничего, кроме пальм, дворцов и лыжных курортов. Но в последние пять с лишним лет Филипп словно проделывал свой путь прожигателя жизни в обратном направлении и теперь, появляясь всюду как подарок судьбы, каковым считал себя, довольно быстро осознавал, что превратился в грустное воспоминание о былом. Тем не менее сейчас он был здесь, величественный и улыбающийся, словно позировал невидимому фотографу, как на том снимке, что сопровождал его из дома в дом, от зеркала к зеркалу; снимок когда-то был сделан в Голливуде: Филипп с гордым видом стоял между Джоном Уэйном и Марлен Дитрих. Этот фотопортрет был, вероятно, самым драгоценным его достоянием, если не считать нескольких золотых часов и коллекции индийских шейных платков, сколь очаровательных, столь же изношенных.

— В семье! Наконец-то я в кругу семьи! — воскликнул он, открывая объятия Сандре и

Людовику.

И он бросил на этого последнего любящий, но вместе с тем опасливый взгляд. Безумие названого родственника ничуть не стесняло его, но было признанным фактом, — так ему объяснила сестра, хозяйка дома.

— Да ты совсем молодцом, Людовик! — объявил он полувосхищенно, полуудивленно. Людовик ответил ему усталой улыбкой.

— Спасибо, — сказал он.

— Я просто счастлив тебя видеть!

На что Сандра тут же отозвалась возгласом, обращенным к брату:

— До чего ж ты красивый!

И хотя красота Филиппа — единственное его богатство — блекла с каждым его новым визитом, сестра не могла не упомянуть о ней.

— А, вот и вы наконец, — добавила она, увидев Мари-Лор, которая грациозно спускалась со второго этажа по лестнице, все в том же платье, что и днем, но украшенном к вечеру брошкой; Людовик что-то не помнил, покупал ли он ее, да и вряд ли он был способен подолгу задерживаться на какой-нибудь мысли.

А Филипп бегло взглянул на драгоценное украшение своей названой племянницы, потом на

Людовика и, увидев два безразличных лица, ограничился улыбкой.

Всех взбудоражило появление Анри Крессона.

— Сандра, дорогая, вас не затруднит, если мы сегодня поужинаем чуть раньше? Потому что, во-первых, я устал и проголодался, а во-вторых, мне обязательно нужно посмотреть теледебаты между двумя типами: один — профсоюзный деятель, другой из объединения предпринимателей, — похоже, там обстановка накаляется, — объявил он с саркастической усмешкой, неизменно сопровождавшей его разговоры о политике.

— Ну разумеется, разумеется, все уже готово. Давайте сейчас же сядем за стол, и Мартен начнет подавать.

* * *

Хаос, царивший в гостиной, ничуть не смущал хозяина дома, но он категорически отказывался преодолевать различные препятствия, чтобы достичь своей цели — кабинета, расположенного в дальнем конце помещения. И потому потребовал, чтобы для него — лично для него! — расчистили нечто вроде коридора — узенького прохода, освобожденного от всякой мебели и прочего хлама; в противном случае любая вещь, попавшаяся ему под ноги, тут же отшвыривалась прочь мощным

пинком, так что какой-нибудь марокканский пуфик вполне мог приземлиться на готический сундук.

В данном случае целью хозяина дома была столовая — комната с кабельным телевидением и чем-то вроде невысокой эстрады, где располагались накрытый скатертью стол с пятью приборами и пять кожаных кресел, одно из которых он разворачивал на сто восемьдесят градусов, спиной к камину, чтобы в одиночку наслаждаться передачами по телевизору, втиснутому в угол рядом с французским окном, в паре метров от стола. В других случаях Анри Крессон сидел, как полагается, лицом к своим домочадцам, например за ужином, после которого со стола снимали скатерть и ставили факс, а также прочие принадлежности, необходимые деловому человеку, будь он даже провинциалом.

Итак, Анри преодолел решительным шагом все восемь метров, отделявших его от скромного «салона-кабинета», швырнул салфетку на соседнее кресло и уселся в свое. Эту столовую он задумал и обставил сам лично. Двое мужчин сидели напротив него, а дамы — по бокам. По окончании трапезы он мог развернуть кресло и спокойно посмотреть передачу по *своему* телевизору: только

об этом он и мечтал. И разумеется, программа, которую выбирал Анри, никогда не интересовала остальных домочадцев. Он стремился к мысленному уединению, вознаграждавшему его за все неизбежные глупости, которых наслушался от них за ужином. Тем самым ужином, во время которого патриарх Крессон иногда с философским смирением констатировал, что его сын, вероятно, полоумный, невестка — безмозглая светская курица, жена — глупа и некрасива, а зять — кретин и прихлебатель! Но он спокойно нес это бремя, лишь время от времени внезапно впадая в неудержимую ярость.

Все быстро заняли свои места, что не помешало некоторым проделать это довольно грациозно — в частности, Мари-Лор, демонстрировавшей новую брошь, которую ее свекор даже не заметил. А Сандра, едва усевшись, вошла в любимую роль — замужняя американка из плохих фильмов:

— О боже, бедный мой, дорогой муженек, вы и вправду, должно быть, смертельно устали! Трудно даже представить, как утомительно для мужчины провести целый день лицом к лицу с этими ужасными акулами бизнеса, а потом вдруг приехать домой и оказаться в лоне такой семьи, как наша! Это поистине тяжкое испытание! Есть

от чего умаяться!

И она послала нежную улыбку своему благоверному, который, не отрывая глаз от тарелки с наконец-то поданным неизбежным овощным супом, буркнул:

— Я провел день не с ужасными акулами бизнеса, дорогая Сандра, а с ленивыми дураками. Так что ты попала пальцем в небо. Но в остальном ты права: иметь дом, где можно передохнуть после всех этих расчетов, очень даже приятно.

Мари-Лор тут же укоризненно воскликнула звонким голоском, состроив умильную гримаску в духе сусальных картинок:

— Дорогая Сандра, именно это и называется отдыхом воина!

Ее озорное замечание позабавило Филиппа, который поспешил скрыть усмешку, наклонившись к тарелке, польстило Сандре, которая залилась румянцем, похвалив себя за то, что она не усидела в своей комнате и вышла к ужину, и, как всегда, оставило безразличным Людовика.

А Мари-Лор, слегка побледнев, храбро выдержала внезапно оледеневший взгляд свекра.

— Вы не представляете, кого я недавно случайно встретила на улице! — воскликнула Сандра, почуяв грозу в воздухе, хотя и не поняла ее при-

чин. — Я встретила нашу *королеву Франции!*

Настала тишина, затем ошеломленный Анри, для которого безумное заявление Сандры оказалось слишком уж неожиданным, попросил ее повторить.

— Да-да, я недавно встретила «королеву» на улице в Туре. Вам же известно, что госпожа де Буайё принадлежала к семейству Валуа[7]. Но в какой-то момент явились Бурбоны и стали раздавать все знатные титулы невесть кому. Так вот, госпожа де Буайё была наследницей по прямой линии графа… не упомню его имени, знаю только, что он мог довольно быстро достичь трона. Словом, если бы не эта история с Бурбонами, она стала бы подлинной наследницей и супругой монарха…

Побагровевшая Сандра бестолково жестикулировала, — казалось, она утратила нить собственных рассуждений.

— Наверно, там были еще и другие обстоятельства, кроме коварства Бурбонов? — с усмешкой воскликнул Филипп. — Мне доподлинно известно, что ты умеешь делать реверанс королеве, ты ведь упражнялась в этом еще в подростковом возрасте, но все же уверяю тебя, что там наверняка были и другие препятствия.

— И слава богу! — воскликнул Анри, дожевывая хлеб; ему уже опостылела эта семейка. — Разумеется, там были и другие препятствия. Вы только представьте себе эту дамочку… как там ее? Сандра, как вы ее назвали-то? Да на нее с какой стороны ни посмотри, сразу видно, что полное ничтожество! И вы хотели навязать *такое* всем французам, у которых есть телевизор?!

— Ну и что тут такого? — пробормотала его супруга, пожимая плечами. — Случай — он и есть случай. Почему бы и нет? Чем она хуже нынешней графини Парижской?[8] Очень даже забавно было бы, если бы в нашем окружении оказалась французская королева.

— Вообще-то, этому вполне могла помешать Великая французская революция, — неожиданно вмешался Людовик.

Заметив удивленные взгляды остальных, он осекся и, прикрыв лицо рукой, словно для защиты, объяснил:

— Это я так, к слову…

Наступило тягостное молчание — все судорожно, но безуспешно искали тему для продолжения разговора.

— Ну а ты как, Людовик, — гулял сегодня? — спросил наконец Анри Крессон у сына, который

вздрогнул от неожиданности.

— Да, отец… я даже прошел до болот. До старых Карувских болот — вы их, наверно, помните? Чудесная прогулка.

— В дневное время он всегда где-то пропадает, — вполголоса прокомментировала Сандра и, пожав плечами, громко заключила: — Да и что с него взять — ни мозгов, ни памяти.

— Все лучше, чем ездить в Тур и напиваться там в компании с придурками, — проворчал Анри Крессон с легкой усмешкой, адресованной сыну, — к несчастью, тот ее не заметил, он уже снова впал в свое обычное отрешенное состояние, из которого вышел, только услышав собственное имя.

— Ну-с, а вы, мадам, небось провели весь день в постели, названивая приятельницам и изображая больную? — грубо спросил Анри у жены. — Здесь у нас один только Людовик хоть чем-то занят.

— Увы, боюсь, что он не видел ни одного уголка ваших владений, — возразил Филипп. — Не знаю, что он может там делать, — разве что его где-нибудь ждет смазливая пастушка…

— Пастушки здесь давно повывелись, — злобно прервал его Анри Крессон. — Иначе в тех местах

гулял бы не только он. А вот вы, Мари-Лор, почему вы не сопровождаете мужа на прогулках? Я никогда не вижу вас вместе.

— Признаться, я не люблю прогулки.

— И кажется, еще ни разу не составили ему компанию за этот месяц, со дня его возвращения домой? — едко осведомился Анри.

— За месяц и две недели, — бесстрашно поправила его Мари-Лор. — Я покинула Париж седьмого июля и уехала из Приморских Альп, чтобы встретиться с вами, — с тех пор прошло ровно сорок семь дней.

Ее горький тон так ясно подчеркивал всю невыносимую тяжесть, всю муку этих сорока семи дней, что в салоне снова нависла неловкая тишина. Однако Сандра, как опытная хозяйка дома, еще раз попыталась вернуть беседу в мирное русло.

— А я вот о чем думаю, — сказала она, — мы обязательно должны разослать приглашения на бал, — я имею в виду, по случаю возвращения блудного сына, помните?.. Ну как же, мы ведь решили, что устроим прием в конце сентября, и даже дату назначили, вот только я забыла какую. О господи, что у меня с головой! — добавила она, тряся означенной головой и отказавшись на

мгновение от своей гордой осанки.

* * *

Вторая мадам Крессон с давних пор старалась высоко держать голову, дабы подчеркнуть свои прерогативы и свое кокетство. «Что для женщины самое главное? — восклицала она (увы, все чаще и чаще, ибо у нее больше не осталось никаких выдающихся качеств, если не считать лишних двадцати килограммов). — Главное — осанка, достоинство, высоко поднятая голова, словом, нечто незыблемое, перед чем будет преклоняться весь свет! Вот наше оружие и одновременно наша защита, уж поверьте мне!»

Однажды Анри, не выдержав, заметил ей, что важнее всего не держать голову высоко, а сделать так, чтобы в этой голове хоть что-нибудь было.

— Иначе, — добавил он, — похваляться высоко поднятой головой — все равно что трясти погремушку.

— Говори что хочешь, Анри, но шея, плечи и затылок женщины непреложно свидетельствуют о ее образованности и достоинстве.

На что ее супруг ответил, пожав могучими плечами:

— Каждый гордится чем может.

— Итак, завтра же беремся за дело, не правда

ли, Мари-Лор? Нужно будет написать не менее трехсот приглашений. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет…

— И не забудьте пастушек, — съязвил Филипп. — Их обязательно нужно пригласить.

Он пытался развеселить сотрапезников, но атмосфера явно была слишком натянутой.

— Вы полагаете, что он их пригласил бы, если бы встретил? — саркастически спросила Мари-Лор. — Благодарите Бога, если он не утопит их в болоте…

И она умолкла, приняв вид покорной мученицы.

Со времени несчастного случая в доме Крессонов перестали называть Людовика по имени, — в их понимании, настоящий Людовик был мертв. О нем говорили «он» и обсуждали все, что имело к нему отношение, так, словно его здесь не было. Впрочем, и сам Людовик при этом, как правило, рассеянно смотрел в окно, озирая сельский пейзаж.

Анри Крессон взглянул на Мари-Лор и вдруг спросил ее елейным тоном:

— Дорогая Мари-Лор, вы так привержены точности; не скажете ли мне, который час?

— Почти восемь часов двадцать минут, — ответила та, не поднимая глаз на свекра.

— Очень-очень вам благодарен, — сказал Анри Крессон. — Надеюсь, вы меня извините, я непременно должен посмотреть дебаты и ни в коем случае не могу их пропустить. Спасибо всем, поговорим позже.

* * *

С этими словами он бесцеремонно развернул свое кресло спиной к сотрапезникам, которые так и застыли над десертом, с ложками в руках, взял пульт и включил телевизор. После короткой рекламы и метеосводки объявили наконец нужную ему передачу.

Поскольку у остальных домочадцев был свой телевизор — на полдороге между марокканской и финской гостиными, все они разместились перед ним на китайском диване. Выбирать им, как и всем остальным французам, было особенно не из чего, и они смотрели душещипательный американский сериал, обожаемый всеми зрителями, которые уже знали его наизусть; сегодня шла заключительная, десятая серия. По правде говоря, Филипп не меньше обеих дам интересовался любовными похождениями блестящих дельцов, их метаниями между амбициозными супругами-

фуриями и дегенеративными отпрысками. Что касается Людовика, то он, начав смотреть одну из первых серий, почти сразу заснул, ко всеобщему разочарованию. Сегодня он тем не менее сел на диван и с притворным интересом воззрился на маленький черный ящик. После десятиминутного рекламного блока и заглавных титров сериала, идущих под прекрасную трагическую музыку, все стали увлеченно следить за развитием сюжета.

Что касается Анри Крессона, он наблюдал на своем экране за схваткой профсоюзных лидеров с предпринимателями, уже слегка позевывая. Американский сериал, слава богу, завершился благополучно, — да и как могло быть иначе, когда над ним рыдала вся Франция?! Самые «волнительные» эпизоды заставили всплакнуть обеих женщин, и только Филипп сдержал эмоции в присутствии зятя, который уж наверняка стал бы насмехаться над ним все две недели его пребывания. Приняв безразличный вид, он подмигнул Людовику, который послушно, как примерный ребенок, смотрел эту серию, и только торжественная мелодия, знаменующая развязку, казалось, вернула ему способность говорить и двигаться.

Что касается Анри, то он следил, как оба лидера прощаются на экране, уже не заботясь о прото-

коле: близились выборы — и политикам было недосуг выяснять кто, что и почему.

Внезапное завершение их дебатов заставило его встрепенуться; лишь тогда он обернулся к обыкновенным человеческим существам, с которыми так давно жил бок о бок, пусть и вопреки своему желанию.

— Ну надо же, одна дурацкая болтовня, и ничего больше! Пара идиотов! Ах, бедная Франция! — воскликнул он не без тайного удовлетворения, ибо как раз накануне провернул крайне удачную операцию на бирже.

Увы, он мог похвастаться этим лишь секретарю, который буквально стелился перед своим патроном.

Но уж точно не своим домочадцам. Поэтому, резко встав с кресла, сказал:

— Во всяком случае, надеюсь, что их болтовня не помешала вам, — тут он слегка запнулся, так как бурчание в его собственном животе разносилось по всем четырем гостиным, — оценить эти американские сладкие слюни. — И добавил: — Желаю всем приятного вечера.

После чего так же резко вернул на место спущенные подтяжки, пнул угодившую ему под ноги кхмерскую статуэтку, которая после короткого

полета плюхнулась на марокканский пуфик, и исчез, скорее всего намереваясь прогуляться по парку.

А там и в самом деле стоял чудесный, теплый осенний вечер. Людовик, вероятно, составил бы отцу компанию, но телезрители пожелали выразить вслух свое отношение — сочувствие или страстную любовь — к трем героям фильма.

Дамы обменялись отзывами — разнообразными, прочувствованными и утонченными — об этом великолепном сериале (ах, только американцы умеют сочетать эти сцены патриархальной жизни *settlements*[9] со своими прославленными технологиями!), расхвалили широту взглядов, сердечность и интеллигентность персонажей, а Сандра даже попыталась воспроизвести последнюю реплику одной из героинь: «*Yes, my dear* миссис Скотт, вы его любили, но не так сильно, чтобы умереть от этой любви, ибо любовь иногда может нанести смертельную рану и уйти!» Эти слова, произнесенные чернокожей кормилицей героини, Сандра повторила, подражая певучему акценту «добрых негров» благообразного вида, каких частенько можно было увидеть в фильмах того времени, притом повторила с акцентом, совершенно неожиданным для владелицы Крес-

сонады. Певучие интонации американского Юга вызвали у ее брата Филиппа такой неудержимый хохот, что он поспешил укрыться в своей комнате. А обе женщины продолжали представлять себе, как они сами могли бы повести себя в той или иной ситуации («Да-да, признайтесь, что могли бы!..»). Заметив ноги своего пасынка, свисавшие с дивана — не то мексиканского, не то бедуинского, — Сандра задала ему вопрос, в котором прозвучала нотка жалости:

— Ну, Людовик, а вам понравилось?

— Я не все посмотрел, — признался тот, — но диалоги, которые я слышал вначале, показались мне слегка… э-э-э… тяжеловатыми.

— Ну ясно, чего же еще от него ждать! — объявила Мари-Лор разочарованной свекрови. — Людовик за всю свою жизнь не посмотрел и пяти фильмов и наверняка не прочел и десятка книг. И уж конечно, не любовался ни одной картиной.

Ее муж не обратил внимания на презрительный тон обеих женщин и спокойно, с мягкой, беззаботной улыбкой возразил, что всегда любил поэзию, прочел много стихов, и, не обращая внимания на их недоверчивые лица, вдруг продекламировал:

— Не выразишь бесстрастным взглядом

Ни радость, ни печаль.

В твоих глазах сверкают рядом

И золото, и сталь[10].

— Вы даже в поэзии ухитряетесь раскопать что-нибудь обидное для женщин, — объявила Мари-Лор. — Бедный Верлен!

— По-моему, это Бодлер, — кротко поправил Людовик, чем окончательно вывел из себя Мари-Лор, пристыженную своим промахом, тогда как она уже собиралась праздновать победу.

— Проверьте завтра по словарю, — бросила она с усмешкой.

Потом взяла под руку свекровь (неспособную различить этих двух поэтов), и та, уставшая от переживаний во время сериала, тяжело оперлась на нее, чтобы подняться по лестнице. Так, вдвоем, они и взобрались наверх, точно пара горных коз; Мари-Лор шла, гневно вскинув голову, — злость всегда удваивала ее силы.

* * *

В комнате все лампы, как и телевизор, были уже выключены заботливым дворецким. Только одна из них осталась гореть в уродливом салоне — она освещала лестницу, ведущую наверх.

Эта электрическая искорка в мешанине эпох, объединенных лишь одним — откровенным уродством, хотя бы не резала глаз. Анри Крессон, раз и навсегда подчинив свой дом незыблемым буржуазным правилам, больше не прикасался к выключателям. И только время от времени приказывал сменить сорокаваттные лампочки, предпочитаемые Сандрой, на двухсотваттные: тусклое освещение — идея жены — наводило на него тоску. Поэтому он категорически запретил использовать где бы то ни было в доме лампы слабее восьмидесяти ватт.

Сандра, так же как и Анри, помнила, что оставлять включенные лампы, работающие телевизоры и прочие чудеса техники никак нельзя — это могло обойтись слишком дорого, — но все-таки не могла же она подниматься по лестнице в темноте: клиника обошлась бы куда дороже, чем лампочка. Поэтому она только крикнула Людовику, оставшемуся внизу, в одиночестве:

— Будешь уходить — не забудь погасить свет!

Последнее слово привязанности и нежности любящей мачехи.

* * *

Спальня Людовика и Мари-Лор походила на комнату новобрачных или, как в их случае,

новобрачных, потерпевших аварию. Это была просторная комната, окнами на задний двор и с видом на холмы; спустившись на несколько ступенек, можно было попасть в небольшой кабинет с диваном, на котором молодые супруги, как предполагалось, могли отдыхать или читать в перерывах между прочими утехами.

Разумеется, Людовик, этот призрак, чудом избежавший гибели, а ныне семейный дурачок, должен был проводить ночи любви с женой, однако узкое ложе, цветок в горшке и несколько книг, которые украшали этот уединенный закуток, были ему сейчас куда нужнее.

Широкая застекленная дверь этой комнатки, выходившая на террасу, была открыта. Людовик вошел через нее, быстро разделся и облачился в пижаму с нелепым рисунком, подходившим скорее для младенца, — казалось, это его не смущало. Включив две маленькие лампочки в изголовье своего ложа, он начал подниматься по лесенке, соединявшей обе комнаты.

— Мари-Лор… Мари-Лор… — тихо позвал он.

Его жена рывком открыла дверь:

— Что вам угодно?

Ее голос отдался громким эхом на лестнице, вылетел через дверь на террасу, во двор, и боязнь

скандала тотчас заставила молодую женщину понизить голос. Она повторила — теперь уже свистящим шепотом, сквозь зубы, но еще более злобно:

— Что вам угодно? Чего вы от меня хотите?

— Я хочу быть с вами, — ответил Людовик, медленно, с изысканной вежливостью подбирая слова. — Хотел бы снова быть с вами.

— Никогда! Я уже вам говорила и повторяю: никогда! — отрезала Мари-Лор и смолкла.

Она сошла вниз на одну ступеньку и теперь нависала над Людовиком, обратив к нему лицо, до того искаженное брезгливой ненавистью, что теперь трудно было определить ее возраст.

Облаченная в длинный вечерний халат-кимоно с широкими рукавами, обнажавшими ее хрупкие руки с накрашенными ногтями, Мари-Лор так судорожно сжимала перила, словно еле сдерживалась, чтобы не задушить мужа; сейчас она вдруг стала похожа на тех огромных летучих мышей, и завораживающих и зловещих, какие пугают детей в зоопарках.

Людовик откинулся назад и так же машинально вцепился в узкие деревянные перила. Теперь они выглядели не как новобрачные, затеявшие любовную игру, а как смертельные враги, жела-

ющие друг другу погибели.

По крайней мере, так казалось Анри Крессону, который стоял во дворе, прислонясь к платану, и явственно видел лицо невестки и удрученное лицо сына. Платан находился метрах в десяти от дома, и Анри Крессон различал и слышал все, что происходило в освещенном дверном проеме: и фигуры, и слова, от которых застыло его невозмутимое лицо.

— Но я же выздоровел, — медленно вымолвил Людовик. — Я тебя люблю, и я уже здоров.

— Послушай, я не хочу тебя обижать, но твоя ежевечерняя назойливость вынуждает меня сказать прямо: ты не выздоровел, ты уже никогда не выздоровеешь! Каждый раз, как мы приезжали в клинику, я видела тебя в смирительной рубашке, смотрела, как ты ползаешь по полу, кусаешься, пускаешь слюни, смеешься дебильным смехом вместе со своими собратьями по безумию, — неужели ты думаешь, что я могу это забыть?! Это был настоящий кошмар! И теперь ты надеешься, что я лягу в постель с таким диким, злобным животным, что я смогу безбоязненно тебя обнимать? Подумай сам! Ни одна женщина этого не вынесет. Как вспомню твой тогдашний бессмысленный взгляд, твои болтающиеся руки… это же отврати-

тельно! Понимаешь ли ты — отвратительно!

Анри Крессон, который видел со своего места только искаженное злобой лицо Мари-Лор и понурую спину Людовика, даже не сознавал, как странно выглядело теперь его собственное лицо, — оно напоминало застывшую, свирепую деревянную маску, как у некоторых языческих идолов с далеких островов.

— Но я никогда не был злым, — сказал Людовик. — Меня просто одурманивали лекарствами…

— Откуда ты знаешь? Нет, Людовик, нам нужно развестись. И как можно скорее, прошу тебя, сразу после этого приема. Прощай!

Отвернувшись от него, она поднялась по своей лесенке, споткнулась на последней ступеньке, что лишило ее движения наигранной драматичности, и, опустив голову, вошла в спальню.

Людовик медленно сошел вниз и лег на кушетку. Его лицо сейчас напоминало отцовское — такое же застывшее, но не выражающее никаких чувств, даже злобы; когда он прикурил сигарету от старой сломанной спички, его рука не дрогнула ни на миг.

3

Бледное мерцание солнца Аустерлица[11] — так можно было сегодня назвать Турень — проникло в монашескую келью Людовика и за несколько секунд преобразило блаженное выражение его лица, размягченного сном, в печальное. Он поморгал, собрался с мыслями и вспомнил, что стал человеком, который — теперь это было ясно — внушает своей супруге неодолимое отвращение и отчужденность. С невнятным стоном он повернул голову, широко открыл глаза и увидел вместо своей прежней, сильной мужской руки костлявое юношеское запястье, торчавшее из рукава пижамы, как всегда — слишком короткого. Одиночество, страх, разочарование — все чувства, которые он испытал со времени возвращения домой, а ныне воплощенные в словах Мари-Лор, — показались ему еще более безжалостными, чем нескончаемые мрачные дни, проведенные в больничных стенах. Он даже не мог винить за поведение, физический облик, а также за гадливость — которую, как ему теперь стало ясно, питала к нему жена — человека, в которого превратился так быстро и так медленно, за остекленными и в высшей степени надежными дверями психиатрических лечебниц. Людовику

никогда не приходило в голову — на самом деле ему просто было некогда — подумать о самоубийстве и сократить таким образом жизнь, которую он, в общем-то, даже не успел как следует узнать. В психиатрических клиниках зеркал не держали; пациенту дозволено было смотреться лишь в крошечный квадратик стекла, да и то если санитары были уверены в его жизнелюбии. Так что Людовик вновь увидел себя только по истечении двух лет. Когда санитарная машина, в которой его везли домой, притормозила рядом с аптекой, он успел разглядеть в зеркале витрины отраженное лицо рослого молодого человека, незнакомое и взволнованное. Прибытие в Крессонаду, возгласы Мари-Лор и Сандры: «Как ты изменился!» — без всяких пояснений — не сразу встревожили его. Зато довольный вид Мартена — «Месье выглядит гораздо лучше, чем в прошлый раз!» — позабавил Людовика: в «прошлый раз» дворецкий видел его в безнадежной коме, уже получившим последнее причастие. Кстати говоря, Сандра крайне неодобрительно отнеслась к данному обряду, буквально навязанному их семье священником, — он ужасно боялся, что этот атеист навеки застрянет в чистилище.

В глубине души она подозревала своего пасын-

ка в чем-то вроде притворства, хотя высказала это вслух гораздо позже. Она боялась реакции супруга, который, несмотря на церемонное обхождение с домашними, в какие-то моменты бывал способен на грубые, непростительные выходки. Так, например, в начале их совместной жизни он мог, призывая Сандру к молчанию, слегка похлопать ее по плечу, а если она продолжала трещать, это переходило в весьма ощутимые, свирепые тычки, от которых она чуть не падала. Или же, наоборот, бесцеремонно стискивал ее в объятиях, грозя задушить и лишая возможности изложить свою теорию по поводу Людовика и его последних коварных действий. В одном из таких случаев Анри Крессон прижал ее к сердцу с мощью ревнивой гориллы и шепнул на ухо: «Вы сочли бы более приличным, чтобы он умер?» — хотя, разумеется, она ни о чем таком не помышляла. Но мужчины, даже самые умные, не всегда способны проявить тонкое понимание ситуации. Правда, Мари-Лор тогда тоже не поняла резонов своей свекрови.

* * *

Было рано — то есть относительно рано для гостей Крессонады, — зато «хозяин встал на заре», как доложила Сандра с обычной смесью восхищения и сострадания родственникам, собравшимся

в столовой (куда она отважилась спуститься).

— Обычно он уходил в свою контору в восемь утра, а сегодня умчался в шесть! — возбужденно объявила она. — А когда я спросила, куда это он в такую рань, он мне ответил как-то странно… Я, наверно, просто не поняла…

Она смущенно хихикнула, и ее двусмысленная гримаса заинтриговала всех присутствующих.

— Мы поможем тебе его разыскать, — успокоил ее Филипп. — Мы ведь уже привыкли к проделкам твоего муженька.

— Нет, вы послушайте, что он мне ответил, слово в слово: «Дорогая малютка, оставайся в постели под своими старыми перинами и, главное, никуда не высовывайся до моего возвращения!»

Филипп, Людовик и Мари-Лор расхохотались. Сандра последовала их примеру и так развеселилась, что едва не опрокинула табурет-треножник, на котором восседала, — изделие из слюды и ткани, невоспламеняемое, непачкающееся, небьющееся, нержавеющее — словом, нечто уникальное, не имеющее аналогов. Пришлось ей искать другое сиденье; в конце концов она плюхнулась — как ей показалось, грациозно — на марокканский, более устойчивый пуфик.

После чего направила указующий перст на

дворецкого Мартена.

— Нужно отправить эту штуковину обратно на завод — в Швецию… или где его там… — строго приказала она, чтобы восстановить свое достоинство хозяйки дома.

— Очень сожалею, но этот завод обанкротился лет шестьдесят назад, — пробормотал Филипп. — Вообще-то, я хотел тебе подарить садовый шезлонг от того же дизайнера, его фамилия Чекер — но, увы, с ним тоже давно покончено.

— Что делать, красивые, оригинальные вещи вышли из моды, — скорбно ответила его сестра, взяв другой ломтик кекса, — первый упал под ноги «зебу», животного, непонятно почему окрещенного этим именем и сохранившего только скелет, шкуру и голову благодаря реставрационным работам, сколь частым, столь же и дорогостоящим.

Это жутковатое существо — кстати, отсутствующее даже в самых современных музеях — неизменно пугало детей, животных и вызывало отвращение у взрослых. Однако со временем самые храбрые собаки повыдирали у него куски шкуры; грива облезла, роговица выпала, и теперь оно уже ни на что не было похоже, разве лишь на самое большое и безобразное животное

эры диплодоков на планете Земля. Так вот, этот «зебу» красовался в гостиной; его толстый хвост обвивал копию саркофага Тутанхамона, а голова упиралась в старинный шкаф, некогда принадлежавший какому-то священнику-инквизитору. Но даже с учетом такого окружения на этот реликт страшно было смотреть. Впрочем, домашние его уже не замечали, он мог навести страх лишь на нового человека, поскольку при жизни, вероятно, отличался гигантскими размерами (хотя никак не мог быть, вопреки уверениям Сандры, полномочным представителем величественных диплодоков).

* * *

Анри Крессон действительно встал на заре — ему не удалось выспаться. Вчерашняя стычка Мари-Лор и Людовика, свидетелем которой он оказался, стоя у платана, помешала ему спать спокойно. Прежде он не уделял пристального внимания жизни своего сына, но все-таки привык думать, что тот счастлив. Теперь же ему стало ясно, что на счастье Людовику нечего и надеяться. Он понял, что под его крышей завязался тяжкий, неравный бой, чьей жертвой суждено пасть Людовику, его родному сыну, за которого он несет ответственность. Вот почему Анри Крессон

проснулся в мрачном настроении, и это настроение обратилось в ярость — против себя самого, против людей, против других людей, против всего (кроме рокового ухода, окончательного ухода его первой жены), что происходит между человеческими существами, побуждая их спариваться и жить вместе, как неразумных животных.

Вообще-то, со стороны казалось, что Анри Крессон постоянно пребывает в скверном расположении духа, иногда близком к ярости, однако это было не так: он оправдывал свой бурный нрав причинами, вполне обоснованными — по крайней мере, в собственных глазах. Это могло быть все, что угодно, — деловой проект, который никак не удавался; человек, вставший ему поперек дороги; красивая, но надоевшая женщина или еще что-нибудь, что ему не нравилось. Вот и сейчас он был крайне озабочен, вот именно, озабочен… но чем?

Ах да, ему нужно поговорить об этом болване Людовике с одной видной дамой легкого поведения. Итак, он сел в машину, вспомнил, что на улице, где жила эта дама, трудно припарковаться, потом решил, что найдет место. И он его нашел.

Мадам Амель приготовилась к встрече задолго до появления Крессона, но он этого не знал.

Она успела обмахнуть метелкой из перьев барную стойку, поставила рядом с ней два табурета подальше от остальных, словно эти простые деревянные сиденья могли оказаться нескромными свидетелями их беседы. Затем вынула бутылку виски, бутылку «Рикара», «Перье» и кока-колу. Мало ли что: мужчины меняются — и с возрастом их вкусы становятся все более странными.

Анри Крессон открыл дверь, пересек тесную прихожую так уверенно и непринужденно, словно входил к себе домой, подошел к мадам Амель, взял ее пальчики и, склонившись, поцеловал их. Ему смутно помнилось, что она обожала это приветствие. Именно такими манерами, в ее понимании, должны обладать истинные джентльмены.

Усевшись на табурет рядом с ней, Анри нерешительно поводил рукой над четырьмя бутылками, потом приподнялся и соскользнул со своего сиденья, встав на цыпочки, — читатель еще не знает, что он был среднего роста, с коротковатыми ногами. Итак, покинув свой насест, он разыскал в баре бутылку водки и торжественно водрузил этот трофей на стойку, после чего с некоторым усилием снова забрался на табурет.

Но мадам Амель не позволила ему обслуживать

себя: она засуетилась, принесла лед, содовую воду, заботливо спросила, не предпочитает ли месье «Indian Tonic», и так далее. Наконец, угомонившись, она налила себе рюмочку водки за компанию с гостем, и они чокнулись, как старые друзья, или как незнакомые люди, или совсем наоборот, — последнее как раз и было правдой.

— Все такая же красотка! — сурово констатировал Анри Крессон; он терпеть не мог комплименты что в чужой адрес, что в свой собственный.

— Ну вы и шутник! — кокетливо возразила она. — Галантный кавалер, как всегда, но шутник.

— Никогда не шучу по серьезным поводам, — с улыбкой парировал Анри.

Он глотнул водки для храбрости: разработанный план внезапно показался ему нереальным, нелепым и, уж во всяком случае, слишком прекрасным или слишком дерзким для этой женщины, с ее строгим макияжем «под учительницу». Мадам Амель сразу почуяла, что разговор будет серьезный, и для начала завела легкую светскую беседу, способную, как она полагала, разрядить атмосферу: «Как поживаете? Отчего вас больше не видно? Как идут дела? Тут у нас только и разговоров что о ваших успехах… Кажется, это даже до

Парижа дошло. А правда, что вы решили заняться политикой?»

Анри не реагировал и ответил только на последний вопрос, махнув рукой:

— Политикой? Да никогда в жизни! Все это болтовня, досужие сплетни!

Мадам Амель кивнула.

— Ну, вот что! — сказал Анри, хлопнув ладонью по стойке бара. — Не стану отнимать у вас время понапрасну. У меня проблема: вам известно, что мой сын Людовик попал в автокатастрофу?

— Да, конечно.

— Так вот, значит, вам известно, что потом его долго держали в разных дурацких психушках, где он только зря терял свое время, мои деньги и где его пичкали всякой дрянью эти коновалы-психиатры. Вы в курсе? Ну конечно в курсе. Здесь хоть молчи, хоть кричи, все равно все всё знают…

И он горько усмехнулся. Мадам Амель смущенно поежилась. Она ожидала чего угодно, но только не того, что он заговорит о сыне. Все это было очень странно.

— Да нет, о вашем сыне не так уж много сплетничают. То есть разговоры-то идут, но люди болтают всякие глупости. Точно никто ничего не знает.

— Ну да, — бросил Анри. — А вы сами-то его видели?

— Нет, конечно, — он ведь нигде не бывает. Однажды садовник мэрии что-то привез вам, разгружался во дворе и случайно увидел его. Но только издали — и потом рассказывал, что парень сильно похудел. А поговорить им не пришлось. Я считаю, это неразумно: ваш Людовик должен выходить на люди, общаться, чтобы доказать всем, что он не…

Она осеклась и смущенно пожала плечами.

— …что он не сумасшедший? — договорил Анри Крессон. — Нет, он не сумасшедший, да и никогда им не был. Просто все эти кретины одурманили его своими снадобьями. Поэтому он сейчас такой… И он скоро возьмется за работу, а пока еще не успел прийти в себя, понимаете? Два года на всяких успокоительных — такое мало кто выдержит.

— Охотно верю, — подтвердила мадам Амель и уже собралась было рассказать другую поучительную историю на эту тему, но Анри Крессон тут же прервал ее решительным взмахом руки.

И она снова превратилась во внимательную слушательницу.

— У Людовика целых два года не было женщи-

ны. А темперамент у него — дай боже, как у всех Крессонов, и прожить два года монахом — это очень вредно.

— Но ведь его жена сразу же, как только он вернулся, занялась им! Какая чудесная у вас невестка — и заботливая, и очаровательная, а к тому же…

Но тут он снова прервал ее:

— Ничего подобного! Может, она и очаровательная, но на самом деле просто шлюха, да еще и амбициозная шлюха, — словом, совсем не такая, какая нужна этому парню, он ведь у нас простая душа, добрый, обходительный. И с ней он никогда не придет в себя, — с горечью добавил Анри. — В общем, как бы то ни было, она ему внушила, что никакая женщина не сможет жить с человеком, который считался сумасшедшим. И попросту дала ему от ворот поворот. Не желает с ним спать.

Мадам Амель так содрогнулась, что чуть не упала с табурета. Эти слова — «не желает с ним спать» — звучали для нее как смертный приговор, с учетом ее ремесла.

— Но это… это же просто отвратительно! И вдобавок незаконно, знаете ли! Вы могли бы потребовать…

Однако по выражению лица Анри Крессона мадам Амель тут же поняла, что он требует лишь

одного — чтобы она его выслушала.

— И что же вы намерены делать?

— Я намерен как можно скорее убедить его, что он в полном порядке. Вот жаль, что вы его не видели. Он теперь стал еще красивее, чем был, еще привлекательней. Да вы вспомните: он ведь и всегда был хорош собой.

— О да, да! — ответила она, кивая. — Ваш сын был красивым парнем и так нравился девушкам, они все прямо с ума по нему сходили. И красивым, и вдобавок хорошо воспитанным, так что я не понимаю, как это лекарства могли превратить его в… в зверя.

— Да и я не понимаю. Так вот, нужно, чтобы кто-нибудь из ваших… девушек успокоил его на этот счет. Как вы думаете, это возможно?

— Ну разумеется! — воскликнула мадам Амель, хотя неясная, странная, подозрительная репутация нынешнего Людовика Крессона слегка встревожила ее. — Но это не так-то просто. Давайте прикинем — кто?.. Кто же?..

Перед ее мысленным взором прошли чередой фигуры и лица. Может, эта? Нет, слишком молода и слишком глупа…

— Разумеется, она не должна быть дурочкой или психопаткой, — сказал Анри Крессон, словно

угадав ее мысли. — Нам нужна надежная женщина, которая любит молодых парней и умеет с ними обходиться — во всяком случае, при таких обстоятельствах. Вы со мной согласны?

— Погодите, дайте-ка подумать… Вот есть у меня на примете одна молодая женщина, очаровательная; вы ее не знаете, она только недавно приехала из Парижа, точнее, из Клиши[12], и уж ее-то ничем не испугаешь.

— Но моему сыну нужна не просто храбрая баба! — раздраженно выкрикнул Анри Крессон, снова ударив кулаком по стойке. — Ему требуется другое: новый жизненный опыт. Короче, мы должны ему помочь, и тогда все пойдет как надо. И для него, и для нас.

— Да, сейчас вы попали в трудную ситуацию. Наверно, вашей бедной супруге тоже нелегко.

— Черт возьми, да она ничего не знает, — впрочем, она никогда ничего не знает.

Но сам-то Людовик знает, потому что эта шлюха, его жена, все сказала ему в лицо, и теперь он думает, что внушает отвращение всем женщинам. А это далеко не так. В общем, все очень просто: я привезу его к вам после обеда.

— Ну полно, месье Крессон, вы шутите! Я и без того вам верю! Этот прекрасный молодой

человек…

Но Анри снова грохнул кулаком по стойке:

— Да говорю же вам: я хочу, чтобы вы его увидели! И тогда вы либо назовете меня круглым дураком, либо полностью согласитесь со мной. Мы будем здесь в половине третьего.

И, не дожидаясь ответа, он круто повернулся и исчез за дверью. Мадам Амель, побагровевшая, напуганная сложностью поставленной задачи, схватила листок бумаги, ручку и начала выписывать имена, падавшие с ее пера, точно прошлогодние яблоки с дерева по весне.

* * *

Была уже половина первого, а может, и час дня. Анри Крессон вполне мог бы вернуться домой, пообедать, а потом умыкнуть своего сына Людовика, но, поразмыслив, отверг этот вариант: его заранее нервировала и злила мысль о предстоящем ужине в лоне семьи, а уж две трапезы в обществе домочадцев были бы и вовсе невыносимы. Поэтому он сделал остановку на полпути, в хорошо знакомом ресторанчике, и пообедал великолепными сосисками — блюдом, которое его супруга считала недостойным подавать у себя к столу. Теперь ему оставалось позвонить домой,

чтобы Людовик не смылся куда-нибудь после обеда, а дождался приезда отца.

Итак, он позвонил в Крессонаду и попал на Мартена, который ответил ему крайне сдержанным тоном — верный признак того, что он допустил какую-то крупную промашку; в таких случаях лицо дворецкого принимало в высшей степени бесстрастное выражение, совсем как у Спока[13] — героя научно-фантастического сериала, который Анри и Людовик просто обожали. Это был единственный герой в данном жанре, которого они оба знали и, более того, высоко ценили — что один, что другой.

— Дамы и господа уже… — начал было объяснять дворецкий холодным размеренным голосом.

— Я тебя не спрашиваю, что́ они «уже»; я прошу позвать кого-нибудь из них к телефону. Хотя нет, не стоит: просто передай Людовику, что я заеду за ним после обеда.

— Месье заедет за месье после обеда? Хорошо, месье, я ему передам.

— У вас там все в порядке, Мартен?

— Благодарю, месье, у нас все в порядке.

Анри поспешил повесить трубку. В Крессонаде наверняка разыгралась очередная домашняя

драма, и он поздравил себя с тем, что чутье не подвело его, избавив от неприятностей как минимум на час. Домашний покой, как же!.. Взять хоть эту фразу, которую ему иногда доводилось слышать: «Уютно расположиться в английском кресле перед камином — с его мирным, приветливым огнем, со своей верной собакой у ног, с бутылкой доброго скотча под рукой...» — вот она — мечта какого-нибудь ленивого кретина!

Возвращаясь к этому раннему утреннему подъему и приезду на завод, где еще не было ни души, можно сказать, что уныние, одолевавшее Анри, так и не развеялось. И допущенные им с тех пор странные выходки (да, именно странные!) ничуть не отвлекли его от мрачных мыслей. Анри понимал, что у него в доме идет некий бой, о котором он доселе понятия не имел и в котором никак не мог разобраться, — вот она, первая проблема. Вторая заключалась в неравных силах противников: один был слаб и уязвим, другой — свиреп и безжалостен, и он не знал, как помочь этой беде, не навредив первому из них, с его слишком нежной, любящей душой. А в довершение несчастья перед Анри стояла еще и третья проблема: жертву связывало с ним кровное родство, ведь речь шла о его единственном сыне.

Этот новый Людовик, каким отец видел его теперь, а именно — отрешенный молодой человек, легкая добыча для всех и не защищенный никем, мог обороняться от внешнего мира разве только своим трехлетним молчанием. Увы, сам Анри до поры до времени трусливо закрывал глаза на оскорбительные выпады Мари-Лор, считая ее поведение просто смешным и нелепым. И теперь, обнаружив, что она отказывается делить ложе со своим супругом, что она объявила ему это еще месяц назад, поставив под сомнение его мужские качества, и что Людовик покорно сносит ее отпор, Анри, конечно, взглянул на ситуацию совсем иначе. Ибо вот уже много вечеров подряд Мари-Лор бросала в лицо мужчине, который любил женщин, худшее из оскорблений, хотя одному Богу известно, как Людовик любил женщин — любил куда больше, чем его отец, поскольку не мыслил для себя любви без покровительственной нежности и чуткости. Возможно, вчера вечером само Провидение позволило Анри Крессону, стоявшему под платаном, увидеть издали эти два лица — мужское, искаженное стыдом, страхом и невозможностью поверить, что все еще можно исправить, и женское — лицо этой шлюхи, с ее безжалостными словами. Шлюхи, чье хорошень-

кое личико, обращенное к его сыну, стало лицом убийцы, лицом юной фурии, способной на все. Вот когда он понял, отчего некоторые молодые мужчины могут спасовать, сникнуть перед этой породой женщин, с которыми им было суждено плодить детей и строить совместную жизнь. Разумеется, сам Анри не боялся ничего и никого, даже таких вот созданий, — не исключено, что они могли ему даже нравиться: он явственно чувствовал в себе прирожденную жестокость, инстинкт выживания, тягу к наслаждению и к власти над другими, еще более неодолимую, чем страсть к разрушению. Но в данном случае он стал свидетелем сцены, которая, несомненно, была прелюдией к разрыву, крушению прежней жизни, а ведь она могла быть счастливой, да она прежде и была счастливой, ибо судьба наделила Людовика — и отец знал это — всем, что нужно для счастья. Однако теперь его сына словно молния испепелила; временами он казался отцу то ли ангелом, то ли призраком. И нужно было сделать все возможное, чтобы Людовик снова уверовал в себя, чтобы он поверг в прах эту горгону с такими нежными чертами, в таких элегантных нарядах, эту супругу, с ее безупречным телом и уродливой душой, эту бессердечную гадину.

В молодости — кажется, годам к двадцати — Анри Крессон прочел всего Бальзака и позже, в самые решающие, переломные моменты своей жизни, всегда мысленно возвращался к его романам, чьи герои нередко были сентиментальны и даже, по его мнению, трусоваты, а мир, грозящий потерями и душевным крахом, состоял из жертв и негодяев, из юных карьеристов и всемогущих богатых дебилов. О нет! Нет! Его Людовик не принадлежал ни к этим циничным юнцам, ни к этим властолюбцам. Нормальный мужчина не добивается успеха, используя женщин. И если он, Анри, терпит у себя в доме бедолагу Филиппа, то лишь потому, что тот — брат его жены, без гроша в кармане, а безденежье Анри считал такой же тяжелой и опасной хворью, как опоясывающий лишай или полиомиелит.

Предаваясь раздумьям у себя в кабинете, он сломал три или четыре карандаша, разорвал несколько документов, а из клочков сложил голубей, которые, пролетев мимо окон нижнего помещения, дали понять его секретарям, что сегодня хозяину лучше не перечить. Один из этих треугольников, посланный со второго этажа и мелькнувший в окнах первого, поверг в панику весь его персонал, точно пожарный набат.

* * *

Сильвия Амель родилась в Туре шестьдесят восемь лет назад. Посвятив десять лет путешествиям и получению образования, она вернулась на родину, сколотив себе приличный капиталец или, по крайней мере, овладев техникой и средствами, позволявшими удовлетворять любые прихоти. Это было тем более легко, что ее знали и почитали в родном городе, где она умело распустила слухи о своем богатстве, о своих деяниях — не просто похвальных, но почетных — и о своих достижениях за все годы отсутствия. Она давно усвоила в числе жизненных правил одно, важное: никогда не позволяйте людям забыть или игнорировать вас. Длительное отсутствие легко дискредитирует любого человека, особенно в глазах провинциалов, полагающих, что тот, кто покинул родной город, почему-либо не может или больше не хочет в нем жить, проявляет некую моральную слабость.

Итак, мадам Амель уже десять лет как вернулась в родные края. И теперь эта дама, с ее округлым лицом, седыми волосами, чуть полноватой фигурой и типично провинциальной, солидной элегантностью, была владелицей особняка, где давала приют исключительно несчастным

женщинам, которых били мужья или обошла судьба, — словом, играла самые разные роли в этом буржуазном городе. В ее распоряжении всегда был целый отряд светских дам — провинциальных, конечно, пухленьких, но вполне аппетитных, и эти особы, зараженные милосердием, как заражаются оспой или холерой, принимали у себя, следуя ее инструкциям, многочисленных визитеров. В результате мадам Амель выполняла две роли, не такие уж разные, поскольку она одновременно врачевала и тела мужчин, и души женщин. Иными словами, фактически управляла этим городом — единственным, который что-то значил для нее, хотя до этого она успела пожить в Лионе, Майами, Детройте и, наконец, в Орлеане — последнем этапе ее странствий в нашем необъятном мире. Никто не знал, была ли она связана узами брака или какими-нибудь иными в течение этих десяти лет, но всем было известно о ее надежных связях в некоторых довольно влиятельных кругах общества, и тот, кто дерзнул бы ей навредить, совершил бы капитальную глупость. Она была патронессой церкви Святого Юлиана, заведуя, в частности, финансами, кюре — полностью свихнувшимся беднягой, которого, неизвестно почему, ревностно опека-

ла, — церковным хором и прочими певческими коллективами, не забывая при этом иные, не совсем законные организации, — словом, обладала многими властными полномочиями. В любых превратностях и сюрпризах судьбы Сильвия Амель демонстрировала неизменную стойкость, спокойствие и доброжелательную улыбку, имея дело с богачами, а иногда и с бедняками — если хотела сгубить или купить их.

Анри Крессон долго был ее верным клиентом, пользуясь услугами девушек по вызову, которых она присылала к нему в убывающей степени (как эстетической, так и технической). Позднее брак с Сандрой Лебаль вынудил его разорвать эти отношения, слишком заметные при данных обстоятельствах, и перенести свое внимание и свой пыл на Париж или на отели между столицей и Туром. Отныне он развлекался с местными красотками именно там. Или, по крайней мере, делал вид, будто развлекается, обходясь с ними галантно, учтиво и воображая себя прежним пылким любовником.

* * *

Когда Анри Крессон приехал в Крессонаду, чтобы забрать Людовика, его немногочисленное семейство наслаждалось десертом на террасе,

и он удивленно воззрился на эту мирную обеденную сценку, с ее восхитительным ароматом шоколада, в окружении могучих деревьев парка. Не выходя из машины, он стал разглядывать каждого из ее участников — Сандру, эту комичную толстуху, ее братца Филиппа, наглого паразита и бездельника, Мари-Лор, эту мрачную, бессердечную шлюшку, лишенную всякой *сексуальности*. Последний человек, на которого он взглянул, знáком велев ему садиться в машину, был ему куда менее антипатичен — разве что не очень-то понятен, слишком вял, слишком беспомощен перед своей женой и, конечно, чересчур простодушен… Нельзя сказать, что сам Анри одобрял простодушие, — оно было, по его мнению, сродни комедии или умственной отсталости…

— Куда это вы собрались вдвоем? — крикнула Сандра.

Этот хриплый, раздраженный вопрос застиг врасплох обоих беглецов. Людовик торопливо захлопнул дверцу машины. Анри пробормотал какие-то невнятные объяснения, рванул с места и сбросил скорость лишь на узком департаментском шоссе, которое ныне затмевала новая многополосная и куда более шикарная автострада, — она шла почти параллельно шоссе,

связывая все со всем благодаря многочисленным круговым развязкам, сколь современным, столь же и ненужным. Анри втайне предпочитал добрую старую дорогу, которая, даром что длиннее на десяток километров, избавляла его от лишних развилок, разворотов и светофоров — короче, от всех этих новшеств.

Глядя на прежнюю дорогу глазами пассажира, Людовик Крессон осознал, какой буколической, но устаревшей она теперь кажется. Машины по ней уже почти не ездили. Дорожные указатели, с их красными нашлепками и размытыми дождем знаками, выглядели древними путевыми столбами. Деревья на обочинах, с желтой и зеленой листвой, которые давно уже никто не обрезал, выглядели наивно-опасными реликтами прошлого. Так же как и рекламные жестяные щиты, криво свисавшие со своих столбов, так что нужно было вывернуть голову, чтобы прочитать: «„Вотчина Улиток“ — 300 метров», «Здесь едят и пьют» или «Встреча у Весельчаков» — притом что никакие весельчаки давно уже не нарушали мертвую тишину этой местности. Это и впрямь была заброшенная дорога, оттесненная своей молодой соперницей, чей победный гул разносился по всей округе на несколько километров; дорога,

которую нельзя было показывать молодым, верующим в прогресс, в скорость, в обезличенные стандарты. Ибо никто из них никогда не вспомнит о «Вотчине Улиток», поскольку, так же как Анри Крессон, никогда не переступит ее порога.

Людовик сидел молча. Его отец разогнал машину и сбросил скорость только после крутого виража, заметив впереди старозаветный дорожный патруль — трех или четырех жандармов, покуривающих сигареты; они обернулись и посмотрели им вслед.

— А куда мы едем? — спросил Людовик мягким тоном, как бы заранее принимая любой ответ.

«Скажи я ему, что мы отправляемся на три месяца в Эквадор, сажать горошек в какой-нибудь тамошней деревне, он бы согласился», — подумал Анри. И поскольку редкий отец способен сердиться на слабоумие своего ребенка, он рассердился на собственные опасения.

— Ты, конечно, помнишь мадам Амель? — спросил он, как бы побуждая сына к утвердительному ответу.

— Конечно! — радостно воскликнул тот, но сразу же помрачнел, что укрепило его отца в принятом решении.

— Я тут как-то встретил ее в ресторане, и она

пригласила нас с тобой к себе на рюмочку коньяку. Сказала, что хочет показать мне свое новое поголовье — мол, есть отличные особи. Вот тогда я и подумал: «Ага, Людовик-то совсем завял в Крессонаде без дела, а водить машину ему пока нельзя, отвезу-ка я его туда, — может, это его развлечет». Ничего общего с супружеской жизнью, верно ведь? В этом вопросе мы с тобой сходимся.

И Анри Крессон разразился громким смехом, надеясь придать ему непристойный, циничный, фамильярный оттенок, который, нужно сказать, совсем ему не шел.

Мадам Амель уже поджидала их в компании двух очаровательных, щедро накрашенных особ, которые, судя по всему, были крайне довольны этой встречей.

Исчезновение отца вместе с одной из девиц, а следом уход и самой мадам Амель оставили Людовика и вторую женщину наедине в маленькой гостиной, чем-то слегка напоминавшей приемную зубного врача; в ней царил довольно гнетущий полумрак. Полумрак, который заставил юную красотку тесно прильнуть к наследнику Крессонов. Тот задрожал всем телом, чувствуя, как к нему возвращаются ощущения — столь давние, что он повел себя скорее как гу-

сар, нежели как умелый любовник. Затем Альма — ибо девушку звали Альма — спросила его, не хочет ли он встретиться с ней завтра, но только уже у нее, «где им будет посвободнее». И он ответил: «Да, конечно!» — с восторгом, который она нашла совершенно очаровательным.

* * *

Анри Крессон, очень довольный собственной деликатностью, ждал сына у выхода и, схватив его за руку, одобрительно потрепал по плечу, словно поздравлял юнца с боевым крещением; похоже, он забыл, что Людовику уже тридцать с лишним лет.

— Только держи рот на замке! — посоветовал он. — Если твоя стерва начнет за нами следить…

— Не думаю, что Мари-Лор придет в голову усомниться в моей верности, — ответил Людовик задумчиво, но весело.

— И будет неправа. Во всяком случае, Каролина — новый кадр мадам Амель — обиделась, что ты предпочел ей Альму. И вот что я тебе скажу, мой мальчик: ты всегда был хорош собой, но с тех пор, как вернулся… э-э-э… оттуда, стал еще красивей, чем прежде. Теперь у тебя вид… как бы это сказать… ну, в общем, более интересный.

И они, точно пара молодых людей, искушенных

и уверенных в себе, переглянулись с понимающей и даже торжествующей улыбкой, какой доселе им еще не доводилось обмениваться.

На обратном пути они остановились возле кафе «Перекресток» и распили вдвоем бутылку «J & B»[14]. Когда они подъехали к воротам Крессонады, Людовик выскочил из машины и какими-то дикими прыжками понесся к дому, обнимая по дороге деревья и перемахивая через загородки газонов, словно через спортивные барьеры. Добравшись до своей комнаты и взглянув в зеркало, он послал самому себе улыбку, которую мог бы расценить — будь он на это способен — как похотливую.

4

Парижский поезд прибыл на вокзал Тура точно в назначенное время — в 16:10. На перроне уже минут двадцать томились в ожидании двое мужчин, принаряженных и в галстуках; тот, что моложе, толкал перед собой пустую багажную тележку. Анри Крессон, который патологически не выносил ожидания, уже раз десять продефилировал взад-вперед по перрону мимо сына, выполнявшего здесь роль «check-point»[15].

Только смутное представление о приличиях удерживало Анри Крессона на вокзале Тура. Он надеялся, что Фанни успешно исполнит назначенную ей роль, хотя не был до конца уверен в своей затее. Их единственная встреча — на свадьбе детей — прошла в мрачной атмосфере: бракосочетание состоялось четыре месяца спустя после смерти Квентина Кроули, и Фанни была похожа на привидение; ее лицо, ее глаза выражали одну лишь безграничную скорбь. Эта очень скромная свадебная церемония, устроенная в Париже, запомнилась Анри Крессону как тоскливый, нескончаемый кошмар. И только счастливое лицо Людовика хоть как-то озаряло, оправдывало этот невеселый обряд.

Поезд остановился, и Анри обратил взгляд на

вагоны первого класса, проехавшие далеко вперед. Там он увидел женщину — нет, в высшей степени элегантную даму, которая, не глядя по сторонам, спускалась по ступенькам, улыбаясь какому-то бедолаге, с трудом тащившему за ней огромный чемодан и, судя по всему, готовому благодарить ее за оказанную милость. В поезде было два вагона первого класса; тот, в котором приехала Фанни, находился в голове состава. Император кресс-салата, сухофруктов и прочих лакомств побежал трусцой к стройному силуэту; дама, поправив шляпку в стиле Греты Гарбо, долго пожимала руку своему незнакомому несчастному попутчику, который, поставив у ее ног последнее, десятое место багажа, едва успел запрыгнуть на подножку вагона, — поезд уже тронулся. Тем не менее она еще долго махала ему вслед; и только когда состав исчез вдали, она снова поправила шляпку, сняла солнечные очки и обвела взглядом перрон; ее карие глаза с удлиненным разрезом сияли так же ярко, как ослепительная приветливая улыбка красиво очерченных губ. «Счастливое лицо… почти счастливое», — подумал Анри Крессон, незаметно для себя ускоряя шаг.

Фанни, известная как одна из лучших сотрудниц великого кутюрье Кемпта, славилась также

своим обаянием, мужеством и сердечностью. Она умела наслаждаться жизнью — по крайней мере, так было вплоть до смерти ее супруга, — но и теперь, когда скорбь утихла, поддерживала этот свой имидж, хотя в глубине души все еще слегка горевала.

Анри наконец подбежал к Фанни и схватил ее руку с энтузиазмом и даже с благоговением — довольно редким для него чувством.

— Анри Крессон, — представился он с поклоном.

— А я Фанни Кроули. Простите, я не сразу вас узнала.

— Я тоже, — взволнованно признался Анри. И добавил с искренним сочувствием: — Вы и тогда были красавицей, но в то время вы так горевали…

Он качал головой скорбно, как профессиональный плакальщик, и темные насмешливые глаза Фанни Кроули посветлели, в них мелькнула нежность. Она легко погладила его по щеке рукой, и обоим вспомнилось, как они проходили по мрачному холлу отеля, где состоялся свадебный обед, и по таким же унылым залам мэрии. Но оба тут же дружно отринули это воспоминание, как забывают неудачный спектакль.

— По-моему, когда-то у нас были дети, которые поженились? Куда же они подевались? — со смехом спросила Фанни.

Это напомнило Анри Крессону, что он делает на этом перроне — с этой незнакомкой, с этой красивой незнакомкой.

— Людовик! — закричал он.

И, обернувшись, увидел, что его незадачливый сын сражается с заблокированной багажной тележкой, не в силах двинуть ее ни вперед, ни назад. Напрягая все силы в борьбе с этим злополучным механизмом, молодой человек осыпал его ругательствами — тихими, но вполне отчетливыми.

— Вот бездельник! Сейчас я ему покажу… Подождите меня!

И Фанни увидела, как Анри решительно направился к сыну, покачав головой, вытянул еле видный шпенек из ручки тележки и рывком откатил ее назад, чтобы взять разбег. Увы, от этого резкого толчка тележка подпрыгнула и свалилась на рельсы. Людовик едва успел подхватить налету падавшего отца, тот уцепился за него, и они исполнили вдвоем дикую, но спасительную жигу. Потом наконец кое-как утвердились на ногах, испуганно переводя дух, и, только услышав

веселый женский смех, окончательно пришли в себя.

— Господи боже мой, как вы меня напугали! — воскликнула Фанни. — Значит, это и есть Людовик? Не могу поверить: когда мы познакомились, вы выглядели эдаким ковбоем, но не робким студентом. По-моему, вы похудели, или я ошибаюсь?

— Верно! Парень потерял десять кило, — вмешался Анри, горестно кивнув.

— Ну, лучше уж потерять их, чем набрать, — ответила она. — Эти ужасные транквилизаторы кого угодно заставят растолстеть и состарят. А вы, наоборот… Не будете ли так любезны взять одну из этих странных тележек, чтобы загрузить мой багаж?

Людовик воздел руки к небу, в отчаянии от своей недогадливости, и побежал со всех ног под укоризненным взглядом отца на другой конец перрона.

— Не пугайтесь, — сказала Фанни Анри Крессону, — я всегда путешествую с целой грудой чемоданов, что наводит ужас на тех, кто меня принимает, но, как правило, раскрываю от силы один из них.

Людовик бесследно исчез, и Анри занервни-

чал.

— Ну куда он делся? А вы, наверно, устали… Ох, ну до чего же он глуп, этот парень!

— Не забудьте, что я приехала как раз для того, чтобы напомнить всей Турени, что он совсем не глуп.

И тут в поле их зрения появился торжествующий Людовик, только совсем не с той стороны, откуда они его ждали, а с противоположной; теперь он уже явно освоился с тележкой и, остановив ее рядом с ними, начал сваливать туда чемоданы, саквояжи и шляпные картонки.

— Ничего себе, вот это багаж! — воскликнул он.

Анри Крессон вздрогнул, сочтя это за грубость, но тут Людовик добавил:

— Нам повезло! Это значит, что вы погостите у нас подольше.

И молодой Крессон обратил к Фанни лицо — неправдоподобно юное, с такими беспомощными глазами и пухлым ртом, готовым к улыбке и ясно говорившим о его доброте, что Фанни Кроули подумала: «Как он изменился! Теперь он намного симпатичнее, чем тот зять, которого я знала прежде».

Она проследила за тем, как он заталкивает

часть ее вещей — остальные оставили на вокзале, их должны были привезти позже — в кабриолет своего отца, и опять поправила шляпку. Анри Крессон распахнул переднюю дверцу, и Фанни села в машину, конечно показав при этом ноги, которые Анри Крессон, конечно, не преминул окинуть зорким плотоядным взглядом опытного соблазнителя.

* * *

Людовик обошел машину сзади и втиснулся на краешек сиденья, между двумя довольно жесткими чемоданами и шляпной картонкой, из которой торчал край папиросной бумаги.

— Разве это не вы поведете, Людовик? — вдруг спросила Фанни; от неожиданности Анри Крессон заглушил мотор.

Потом снова включил зажигание и, только проехав метров двести, ответил:

— Знаете, Людовик не водит машину со времени того… случая.

— Но ведь это не он тогда сидел за рулем, — строго возразила Фанни.

— Вы единственный человек, который об этом помнит, — тихо отозвался Людовик и, подавшись вперед, прижался щекой к плечу своей тещи.

Его жест растрогал даже Анри Крессона, и тот

на секунду отвлекся от дороги, хотя оба его пассажира предпочли бы, чтобы он глядел вперед. Ибо Анри Крессон явно считал, что все шоссе проложены лично для него, и дивился каждой встречной машине, а пейзаж на обочине видел только в зеркале заднего вида. Даже Фанни — казалось бы, особа в высшей степени рассеянная — озабоченно поглядывала на Людовика, который, прищурившись, не смотрел на них обоих вплоть до той минуты, пока не пришел в себя, после чего поднял голову и улыбнулся ей, — так улыбаются дети в классе, когда их разбирает безудержный смех.

— Боже мой, Анри, дорогой, зачем вы так гоните машину? — спросила гостья. — Вокруг такой прелестный пейзаж, просто поразительно!

— Подумаешь! — буркнул тот и прибавил скорость. — Это еще что!.. Вот увидите — наш дом будет пошикарнее.

— Ну что ж, ничего не поделаешь, — ответила Фанни, закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья.

А Людовик со своего неудобного места любовался изгибом ее шеи и чистым, точеным профилем, одним из тех прекрасных кротких профилей, что иногда на краткий миг мелькнут в окне вагона и

исчезнут, оставив пассажирам встречного поезда томительное воспоминание, которое потом будет преследовать их всю жизнь.

— Нам осталось ехать всего три километра, — печально промолвил молодой человек. — А мне так хотелось узнать вас получше.

— Вот и я хотела бы общаться с вами подольше, милый мой зять, — со смехом ответила Фанни. — Ведь я видела вас, мне кажется, всего трижды: когда Мари-Лор познакомилась с вами, потом в день вашей свадьбы и еще раз — в одном из тех ужасных заведений, куда вас определили на лечение после несчастного случая.

— Да, я прекрасно это помню! — вдруг воскликнул Анри Крессон. — Вы даже разрыдались, когда вышли из палаты. Меня это особенно поразило потому, что за те три месяца только вы одна и заплакали над ним.

Наступило молчание.

— Да, я помню… — прошептала Фанни; ее глаза были по-прежнему закрыты, лицо не дрогнуло. — Помню, что он был одет… простите, Людовик, вы были одеты в белую тиковую пижаму, сидели в садовом кресле и спали, а ваши руки, от локтя до пальцев, были привязаны к подлокотникам, хотя вы выглядели кротким, как ангел.

Да… признаюсь, я заплакала. И не столько над вами… Я надеялась, я была абсолютно уверена, что вы выздоровеете, да-да, что вы очень скоро поправитесь. Нет, я плакала над всеми теми, кто не плакал.

— Но… но мужчины ведь не плачут! — возразил Анри тоном обиженного ребенка.

* * *

Наступило долгое томительное молчание, царившее в салоне до самой Крессонады.

Когда Фанни вышла из автомобиля, который описал элегантный полукруг перед домом, она снова выглядела веселой и невозмутимой.

5

Фанни едва успела рассмотреть кошмарные средневековые башенки, пристроенные к дому по прихоти одной из вдовых невесток хозяина перед отъездом в отчий дом, и галерею с навесными бойницами на противоположной стене здания, — а Мартен уже вышел на крыльцо, распахнул дверцу автомобиля перед гостьей и теперь извлекал ее чемоданы из багажника (предоставив Людовику самому справляться с шляпными картонками). Анри Крессон обогнул машину и взял Фанни под руку, собираясь ввести ее в дом, откуда им навстречу уже сбегал по внутренней лестнице, прыгая через ступеньки, сияющий Филипп — причесанный, разряженный, в галстуке, — расправляя на ходу платочек, торчавший из нагрудного кармана.

Итак, гостья с изумлением обнаружила в Крессонаде уже двух мужчин, и это не считая Мартена с его бескровным лицом, ибо он, непонятно почему, никогда не выходил на свежий воздух. Филипп был поражен этой мертвенной бледностью, которую доселе не замечал, а теперь сравнил с землистым цветом лиц арестантов — если предположить, что он таких знавал.

— Фанни… мадам, — сказал Филипп, еще не

дойдя до процессии, состоявшей из Анри Крессона, гостьи, Людовика и Мартена (двое последних сгибались под тяжестью багажа). — Вы позволите называть вас просто Фанни? Мы с вами виделись дважды — на свадьбе вашей дочери и в больнице у Людовика.

— Я вижу, у тебя избирательная память, — проворчал Анри, — запомнить два самых мрачных события последнего десятилетия…

С этими словами хозяин дома резко остановился на верхней площадке крыльца, и вереница у него за спиной тут же смешала строй; Фанни еще успела сделать грациозную, но безрезультатную попытку добраться до верхней площадки, а вот Людовик и Мартен судорожно схватились за перила, разроняв драгоценный багаж гостьи.

— О, моим нарядам ничего не страшно, — успокоила она хозяина. — Скажите, а замок Людвига Второго Баварского выше, чем ваш? Неужели тут больше двухсот семидесяти ступеней?[16]

Анри и глазом не моргнул, он учтиво показал гостье коридор, ведущий направо.

— Ваша дочь живет вон в том крыле, — сказал он. — Людовик вас туда проводит.

— Но мне кажется, приличнее было бы сначала поздороваться с вашей супругой.

— Моя сестра сейчас отдыхает, она очень утомлена, — вмешался Филипп. — Я полагаю, вам хотелось бы сперва увидеться с дочерью. Это там, чуть дальше… я имею в виду комнаты вашей дочери и Людовика.

— Ничего страшного, — успокоил ее этот последний. — Главное, чтобы Фанни чувствовала себя здесь, как дома.

И он со смехом присоединился к новой процессии, направившейся в покои Мари-Лор. Анри Крессон свернул в новый коридор, такой же нескончаемый, как и все остальные. Людовик, теперь возглавлявший шествие, словно гид-призрак, остановился, не дойдя до поворота.

* * *

Фанни согласилась на это путешествие, на посещение этого дома и на встречу с Мари-Лор, чтобы узнать, как теперь протекает семейная жизнь дочери, и дать как можно более лестный отзыв о своем зяте, — задача не из легких, если учесть явный психический сдвиг, который она подметила у Анри, и такой же, но с оттенком робости у Людовика. Она невольно расценивала эту миссию как свою обязанность — правда, довольно неожиданную. В конце концов, эти двое, отец и сын, больше никому не старались понравить-

ся, тогда как обычно мужчины лишь об том и помышляют. Их примитивные, нелепые натуры отличались какой-то несоразмерностью, чем-то настолько далеким от времени, эпохи и морали, что они внушали ей смутный страх. Это были буржуа, один из которых женился на ее дочери, и семья хотела его реабилитировать после того, как довела до состояния, в коем он пребывал, иными словами, до несчастья. Фанни очень давно не встречала человека, более годного на роль жертвы несчастья, чем этот молодой человек; сразу было видно, что между ним и его родными стоят одни лишь раздоры и умолчания. Возможно даже, здешняя обстановка была похуже, чем в романе Мориака[17] или в других книгах, где сражаются друг с другом чудовища в человеческом облике, хотя здесь никаких чудовищ не наблюдалось, за исключением, может быть, ее дочери, но об этом Фанни предпочитала не думать.

После нескольких поворотов, одолев расстояние, сравнимое, как показалось Фанни, с гоночной дистанцией в Ле-Мане[18], они остановились перед монументальной дверью, свежеокрашенной в цвет, который, видимо, по понятиям Крессонов, был уместен для молодоженов. Наверно, со временем цвет изменят по случаю

вступления в брак их детей, затем внуков и так далее. Постучать никто не осмелился. Наконец Анри, раздраженный апатией своих спутников, поднял руку и грохнул кулаком в дверь.

— Мари-Лор! — выкрикнул он, стараясь, чтобы его голос звучал весело, хотя в нем явственно слышалась угроза. — Мари-Лор, ваша матушка приехала!

Ответом было презрительное молчание. Фанни, стоявшая рядом с Анри, заметила, как у него вздулись жилы на висках и на шее. Он снова постучал в дверь, и на сей раз в его голосе уже не было ничего приторного:

— Мари-Лор! Черт побери! Вы там умерли, что ли? Говорю же вам: здесь ваша матушка!

И он с силой крутанул дверную ручку — безрезультатно, дверь была надежно заперта. Настала тягостная тишина, такая плотная, что хоть ножом режь, такая ледяная, что все застыли. Анри обратил к сыну разъяренное лицо:

— Ну вот, дожили — теперь твоя жена запирается! Интересно, как ты вечером попадешь к себе? Будешь возносить молитвы перед дверью?

Людовик, смертельно бледный, упорно молчал, что побудило Фанни пройти между отцом и сыном и в свою очередь позвать:

— Дорогая… Это я, твоя мама… Ты, наверно, спала. Я жду тебя в своей комнате через полчасика, за это время я успею принять душ. До скорой встречи, моя дорогая.

И, послав запертой двери воздушный поцелуй — такой же бесполезный жест, как предыдущий, — она круто повернулась, решительно взяла под руку побагровевшего Анри с одной стороны, по-прежнему бледного Людовика — с другой и повела их в обратном направлении.

— Ничего не понимаю… — пробормотал Анри, бросая разъяренные, угрожающие взгляды на сына.

Следом за ними брел Филипп, машинально запихивая в нагрудный карман шелковый платочек, словно хотел спрятать его поглубже, и сутулясь, словно бессознательно подражал знаменитым ухваткам Граучо Маркса[19].

— Вот ваша комната, дорогая Фанни, мы предназначаем ее для особо почетных гостей.

Если она вам не понравится, у нас есть три другие, все они в вашем распоряжении. Не забывайте: начиная с сегодняшнего дня вы, и никто другой, полная хозяйка в этом доме.

— О, я никогда не любила хозяйничать где бы то ни было, — с улыбкой возразила она. — И эта

комната очаровательна!

* * *

Комната была оклеена обоями блеклых тонов, с розами и сиренью, которые в силу давности стали неотличимы друг от друга. Широкие окна выходили на террасу. К оконному стеклу ластилась ветка платана; когда Фанни открыла створку, его листок нежно коснулся ее щеки, словно приветствуя гостью. И она улыбнулась этой террасе, этому листку, этой тишине за окном — может быть, впервые вызвавшей чье-то восхищение. Да, Фанни улыбнулась, но не стала оборачиваться, чтобы разделить свое удовольствие с тенью — той тенью, которая, однако, всегда маячила у нее за спиной.

Ибо траур делится на множество этапов. Начавшись с жестокой боли, он становится привычным состоянием и для начала притупляет наши чувства, а позже пробуждает их, но приводит нас в полное безразличие, именуемое в данном случае «уходом в себя», или безучастием — как по отношению к самым близким людям, так и к посторонним. Словом, ко всему, что повергает нас в смятение, нагоняет тоску, но мало-помалу возвращает к жизни, не имеющей отношения к

скорби, — к череде дней, к перипетиям и мгновениям, сменяющим друг друга уже без *него,* или без *нее*, или без обоих. Но вас поддерживает вовсе не уверенность в другом существе, в другой судьбе или в другом счастье, а, скорее всего, попросту «жаркая жажда жить», о которой писал Элюар[20], — она рождается вместе с вами из материнского чрева и поддерживает ваше существование. И наступает время траура по себе самому — прежнему, который нужно пережить, род презрения без воспоминаний даже о самых счастливых днях. Это неизбывное, черное презрение к себе самому, этот механизм страдания превращает вас ночами, под одеялом, в стонущее животное, а днем в непроницаемое существо, презревшее слезы. Вы уже противитесь горю, боретесь с ним, и меланхолия защищает вас, как фасад, как непроницаемая завеса. Окружающие питают какое-то необъяснимое почтение к скорбящему созданию, которым вы стали, и этот образ возвышает вас — более того, выглядит соблазнительным в их глазах. Но если кто-то другой сумеет чутко отнестись к вашему горю, к вашему отречению от жизни и если это отречение не слишком унизит его, если этот другой будет знать, что ваше убитое сердце еще бьется, — тогда все может

стать открытым окном, выходящим на террасу погожим осенним полднем. И касание первого же листа платана, прильнувшего к вашей щеке, вдруг покажется вам не пощечиной из прошлого, а счастьем — невыразимым, непостижимым счастьем, каким бы именем его ни назвать.

Развешивая свои четыре блузки, пару свитеров и прочие, в высшей степени элегантные наряды в шкафу этой очаровательно-старомодной комнаты, Фанни наслаждалась каждой минутой мирной тишины, нарушаемой лишь поскрипыванием паркета у нее под ногами.

* * *

Прошло десять минут, в дверь постучали; и за спиной Фанни, стоявшей у шкафа с вешалками в руках, появилась Мари-Лор. Таким образом, мать увидела ее сначала в зеркале дверцы, с головы до ног, — дочь была на пять сантиметров ниже матери, что ее всегда жутко уязвляло.

На Мари-Лор было очаровательное бледно-сиреневое полотняное платье, а на шее великолепное малахитовое ожерелье, выгодно подчеркивающее цвет глаз. Туфли на плетеной подошве придавали ей вид скорее девочки-подростка, чем молодой дамы. На какое-то мгновение Фанни

почудились, будто в зеркале отражаются три женщины, — эта иллюзия всю жизнь преследовала ее, свидетельствуя об отсутствии правды или человечности в любых самых традиционных отношениях.

Фанни резко обернулась и взглянула на дочь с ностальгией матери, давно не видевшей дочь. А Мари-Лор, как всегда, выдержав три секунды, предварявшие все их встречи и «выходы на публику», затворила дверь и сделала пять шагов в сторону матери. Фанни оперлась одной рукой на штангу с вешалками, легонько поцеловала дочь в висок и отстранилась.

— Мама, прошу прощения, меня вдруг одолел такой крепкий сон… Я собиралась встретить вас на крыльце, а тут… рухнула на кровать и заснула как убитая… Мало того, кто-то барабанил в дверь так, будто гестапо явилось!

— Твой свекор был немного раздражен, зато твой муж вел себя безупречно, — сухо ответила Фанни. — С каких это пор ты запираешься у себя в комнате? А вообще, моя дорогая, ты стала настоящей красавицей.

— Просто чудо, если это так, — медленно ответила Мари-Лор. — Сколько уже времени я тут живу? И сколько времени прошло с тех пор, как

Людовика объявили здоровым и способным вести нормальную жизнь?

И она расхохоталась, к великому удивлению матери.

— Ты только представь себе: после трех лет сомнений и прогнозов ему даже не поставили окончательный диагноз!

Фанни присела на широкую кровать.

— Но тогда что ты здесь делаешь? Ты его любишь или нет? Только не уверяй меня, что остаешься здесь из преданности мужу… Если ты считаешь его сумасшедшим, разводись. Насколько я знаю, вы живете в одной комнате. Так реши наконец, чего ты хочешь.

— Я уже не чувствую себя женщиной, мама. И моему терпению есть предел. Тут творится такое, о чем я не могу рассказать даже родной матери.

«Особенно матери», — подумала Фанни без сожалений и грусти: она давно уже отрешилась от Мари-Лор и от своих материнских переживаний. Встав, она подошла к окну, чтобы не видеть кровати, обоев, двери — всех этих символов супружеской жизни. Тем не менее мать и дочь питали друг к дружке чувство, близкое к восхищению: Фанни — из-за бессердечия Мари-Лор, — так относятся к кому-то, не похожему на

вас самих, от рождения лишенному этого органа — сердца; Мари-Лор — как раз из-за сердечности, чувствительности, доброты Фанни — качеств, которые, по ее мнению, можно развить в себе, изучая их, как политические науки, и которые, в числе некоторых других, высоко ценились в обществе, хотя были абсолютно бесполезны для карьеры; впрочем, Мари-Лор так и не нашла ни времени, ни желания этим заняться.

— Какая красивая терраса, — рассеянно заметила Фанни, облокотившись на подоконник.

Мари-Лор бесшумно подошла к ней и вдохнула вечерний воздух сада, смешанный с ароматом духов матери, неожиданно вернувшимся к ней из детства, о котором она не любила вспоминать, хотя этот аромат — пусть он и свидетельствовал о равнодушии ко всей ее жизни — все же пробуждал в ней легкую тоску по тем годам. Даже сам Квентин Кроули был слишком мужественным — а может, и слишком боязливым, — чтобы вмешиваться в безжалостные ароматические предпочтения своей дочери-подростка. «К чему она стремится, моя матушка, — стать законодательницей моды? Ничего у нее нет — ни будущего, ни любовника!» — подумала Мари-Лор, хотя для нее это последнее слово никак не связывалось ни

с любовью, ни с соблазном.

«К чему она стремится, моя дочь, в своем еще юном, совсем неранимом возрасте?» — думала, в свою очередь, Фанни, которая вдруг на какое-то мгновение почувствовала себя ответственной за эту женщину, созданную для того, чтобы наверстать упущенное и украсить любовью потерянное время.

Эти размышления прервал веселый голос. Голос Людовика, который окликнул их с террасы, где он стоял, изнывая, как школьник, от нетерпения.

* * *

В тот день у Людовика не было свидания. «Займись-ка ты хоть немного домашними делами», — буркнул ему отец. Анри очень боялся, что к ним пожалует некто вроде засохшей старой девы или скорбящей вдовы — ничего общего с «Веселым Парижем», — которая до сих пор держит в голове все перипетии той чертовой свадьбы. Но память подвела его, заставив сочинить унылую сценку, в которой воображаемый Людовик водит под ручку воображаемую увядшую даму, показывая ей террасу и гостиную, все до последнего уголка, а Мари-Лор уныло тащится за ними следом. На самом деле с приездом Фанни в доме все переменилось, и теперь Анри с удовольствием

воображал эту парочку стоящей в тени главной аллеи, а своего сына — обнявшим даму за плечи. Не исключено, что через неделю он и увидит их именно в такой позиции, только без всякой Мари-Лор, — и эта перспектива привела его в раздражение. Фанни Кроули и *его* сын, в *его* парке или в *его* гостиной, — этот образ вызывал у него определенные мысли, какие порождает вожделение, а ревность еще и усугубляет, пусть даже все это не имеет ничего общего с реальностью.

Итак, именно Анри Крессон сочинил сценарий представления, намеченного на конец сентября. Иногда бывает так, что роли *a contrario*[21] пробуждают самые что ни на есть бурные страсти в душах второстепенных участников представления, вовлеченных помимо их воли в самые роковые обстоятельства. Анри Крессону, грубому, властному и безжалостному во всех жизненных ситуациях, никогда не приходилось быть жертвой таких эмоций, если не считать печали и сиротливости, связанных со смертью жены. Но вот теперь его внезапно, как молния, поразила ревность, которую он не мог ни внятно выразить, ни подавить.

С момента прибытия Фанни роль ее помощника, естественно, досталась Людовику. В конце

концов, именно заботой о его душевном здоровье объяснялся этот вечерний прием со всей надлежащей пышностью, чреватой сумасшедшими расходами на угощение (птифуры, легкие или плотные «антре», пирамиды кремовых пирожных и прочие яства), на расчистку аллей и стрижку деревьев в парке, на удвоенное число слуг, сплошь недотеп и воров, по мнению Мартена). Все это было плодом фантазии Анри Крессона (весьма дорогостоящим) и, как следствие, задачей Фанни. Вот почему Людовику поручили показать теще декорации предстоящего действа — различные гостиные, где ей надлежало принимать, дабы реабилитировать зятя, толпы богатых гостей, коих она *a priori* считала невыносимыми. Миссия эта, сама по себе сложная, оказалась не такой уж тяжкой для Людовика, чьи врожденная искренность и полное равнодушие к социальным различиям превосходили или, по крайней мере, благополучно обходили все трудности, зато Фанни терпеть не могла подобные «сборища», для которых, по ее мнению, было совершенно невозможно создать мало-мальски элегантный антураж. Эта задача представлялась ей такой же безумной, как и сам проект. Что она делает здесь — без любимого мужа, с нелюбимой дочерью, —

пытаясь доказать факт полного или частичного выздоровления почти незнакомого молодого человека, которого, правда, теперь, в этом году, находила более симпатичным, но все же странным? Бывали в ее жизни один или два периода, когда все складывалось легко, благополучно или хотя бы так, как окружающие хотели, ждали, надеялись, когда все основывалось на чувстве или чувствах, будь это всего лишь амбиции, но когда эти чувства соединяли супругов, любовников, родственников. Здесь же не было ничего похожего. Вокруг она видела лишь слепцов, не желавших признать, что они превратились в чудовищ.

На самом деле люди, способные здраво судить об окружающих, люди, считающие своим долгом проявлять нежность к другим и уважать их право на заблуждения, хоть этим доказывают наличие души в своем существовании.

Тогда как претенциозность, равнодушие и полуагрессивность обитателей Крессонады объяснялись главным образом глупостью и полным отсутствием интереса к кому бы то ни было. Веселый настрой встречи на вокзале и особенно по дороге, в машине, бесследно испарился. Остался только дом — огромная, грузная хороми-

на, полная лестниц, галерей с бойницами и ко всему безразличных людей. Фанни встречала и по-разному оценивала многих богачей — снобов, клиентов знаменитого кутюрье — своего шефа, но никогда еще не сталкивалась с существами настолько чуждыми ей по духу. Здесь царили не деньги, не амбиции, не жажда власти — словом, ничего из явлений ей знакомых, но какая-то дремучая некоммуникабельность, свойственная всем членам этого семейства, обдававшего ее холодом. Она чувствовала, что в этом доме никогда не велись разговоры между женой и мужем, между отцом и сыном, между Мари-Лор и ее свекровью. Каждый ревностно охранял только свое достояние, свою епархию и ни в коей мере не интересовался другими. И эта обособленность буквально носилась в воздухе, смешиваясь с деревенскими ветрами, которым лишь изредка удавалось ее развеять.

6

Фанни твердо решила, что в день большого приема здешняя погода просто обязана быть прекрасной. При одной лишь мысли о том, как втиснуть две сотни незнакомых личностей во внутренние покои, между марокканскими пуфиками и мраморными восклицательными знаками статуй, ей хотелось немедленно сбежать отсюда. Но она обладала бесстрашием людей, которые дерзко бросают вызов судьбе и побеждают, а потому заранее приготовилась, даже в случае проливного дождя, стоять вместе с растерянными гостями в доме, смотреть вместе с ними, как полотняные тенты, буфеты, столы — словом, все, что она напридумывала, — медленно оседают наземь, и тем хуже, если Венера Милосская у нее за спиной тоже увидит все, что творится снаружи, поверх голов запоздавших мокрых людей. И тогда кто осмелится утверждать под таким ливнем, в такой суматохе, что Людовик безумнее, чем все окружающие?! Пускай непогода бушует, как ей угодно, — даже в этом случае миссия Фанни будет выполнена, хотя для нее самой это было бы слабым утешением: фильмы-катастрофы всегда угнетали ее не меньше, чем капризы знаменитых дизайнеров.

* * *

«Я, конечно, предоставляю вам полную свободу действий!» — объявил Анри в день ее приезда, за ужином. По тому, как вздрогнул Мартен, и внезапно онемели все сотрапезники, Фанни поняла, что в доме Крессонов эта фраза доселе не звучала — во всяком случае, из уст хозяина, который вдобавок, желая подчеркнуть изысканность своего высказывания, сопроводил его светской улыбкой, только подчеркнувшей его вульгарность. Впрочем, ее и подчеркивать не требовалось: об этом свойстве говорило все — и бычья внешность Анри, и его бесцеремонность в отношениях с людьми, и убежденность в собственном превосходстве, хотя, как ни странно, эта вульгарность бросалась в глаза именно в тех случаях, когда он инстинктивно пытался ее скрыть.

В Туре, где все страсти обычно порождались отзвуками, долетавшими из Крессонады, эта «свобода действий» произвела фурор — во всяком случае, среди городских коммерсантов. Вторым событием, которое должно было положить конец всем кривотолкам, касавшимся душевного здоровья Людовика, стало послание означенного Людовика, написанное от руки на листке из школьной тетрадки и приглашающее мадам

Амель на свидание в охотничьем домике на следующей неделе. Мадам сначала изумилась, потом умилилась, потом разъярилась: это еще что за фортели?! У нее есть дом, у нее есть девочки! С какой стати она должна резвиться с сыном своего бывшего клиента в какой-то лесной халупе? Подумать только — у нее самые красивые девушки в Турени, а этот сопливый развратник предпочитает им женщину (то есть ее, мадам Амель!), которой уже сильно за шестьдесят! Однако все эти гневные чувства очень скоро уступили место тому, что победить невозможно, — любопытству.

Итак, в субботу, в три часа пополудни, Людовик и мадам Амель сидели лицом к лицу в указанном любовном гнездышке — он в вельветовом костюме, она в черном комплекте с гипюровой отделкой и воланами, практически броня. В конце диалога, трудно передаваемого во всей своей полноте, выяснилось, что Людовик питает к пожилой сводничке абсолютно невинные чувства: ведь именно благодаря ей он вновь испытал радости любви, избавившие его от долгой депрессии. После чего молодой человек, извинившись за то, что поручает ей роль почтальона, вручил мадам Амель конверт, содержавший более чем приличную сумму, вырученную Людовиком (этого она

так и не узнала) от продажи четырех его часов, из коих одни, подаренные ему на первое причастие, были из чистого золота.

А затем он доставил ее на такси в город, где она со слезами на глазах обняла его, прижав к сердцу.

Как ни странно, мадам Амель ни с кем не поделилась подробностями этой встречи, которую прежде щедро комментировала, — теперь она выдавала на публику лишь смутные, но самые трогательные версии. Например, объявляла: «Людовик, может, и ненормальный, но он настоящий джентльмен!» Что же касается самого Людовика, то он ощутил себя подлинным Казановой и помчался в Крессонаду — обычная пробежка, только с куда большим энтузиазмом. Ибо сейчас он стремился не к своей молчаливой, равнодушной семье и ненавидящей супруге, а к Фанни, к этой прекрасной и умной женщине, которая будет разговаривать с ним как с мужчиной. **7**

Была половина пятого той самой субботы, когда Людовик вернулся из лесного домика после свидания с мадам Амель. Он остановился на террасе. Машины Анри что-то не было видно. В этот час здесь царило такое безмолвие и такое безлюдье, что он и сам на какой-то миг застыл как статуя,

и только звуки рояля заставили его шагнуть вперед. Они доносились из старого кабинета рядом с гостиной, где стоял древний, всеми забытый «Бехштейн»; официально эта комнатка предназначалась курильщикам, музыкантам и просто собеседникам — иными словами, всегда была безлюдной и запущенной. Собственно говоря, она пустовала с самого рождения Людовика — он никогда не видел, чтобы рояль открывали, и никогда не слышал, чтобы тот издал хоть один звук. Он было усмехнулся, как вдруг из кабинета донеслась целая мелодическая фраза, поразившая его в самое сердце. «Ну наконец-то…» — подумал он, взволнованно дыша, подкрался по стенке к окну, откуда тек этот мед и этот яд, и увидел в комнате профиль Фанни — «высокомерный, неприступный», как ему на мгновение почудилось. Она повторяла этот пассаж раз за разом, и Людовика пронзило чувство беспредельного отчаяния: как же это он ничего не знал, ничего не понимал, всегда лишен был того, что таилось в этой музыке, что наверняка носилось в воздухе, вокруг него, чем наверняка веяло в Париже, где он влачил пустую, убогую жизнь, не умея ни обладать, ни наслаждаться чем-то по-настоящему ценным. Он привалился к стене и закрыл глаза, пытаясь сдер-

жать непрошеные слезы. «Слезы… у взрослого… какая нелепость…» — подумалось ему.

Он вытер их рукавом и впервые за долгое время спросил себя: что же творится с ним, с Людовиком Крессоном? Те долгие годы, когда на нем испытывали всевозможные медикаменты, его, Людовика, спасало полное равнодушие к себе самому, полное отсутствие самоуважения, как, впрочем, и презрения, к своей персоне. Прежде его не обременяли никакие обязанности, за исключением тех редких, сентиментальных и весьма спорных, которые он иногда сам для себя придумывал; он не претендовал ни на какие права, да у него их никогда и не было, разве только право бездумно и щедро сорить отцовскими деньгами. В те времена он отличался неизменно беззаботным нравом, ровно ничего не зная о подлинном счастье, далеком от его повседневной легкой жизни; затем ему пришлось испытать смятение и страх смерти, после чего он смирился со своим одиночеством и довлевшим над ним отчаянием. Обделенный с самого детства материнской любовью, он долго чувствовал себя неполноценным, каковым вскоре и был признан официально.

* * *

Внезапно музыка смолкла, окно распахнулось.

— Людовик? Что вы здесь делаете? Я думала, вы… наверно… играете в теннис, — пробормотала Фанни.

Она уже знала — конечно, от Филиппа — о сегодняшней эскападе молодого человека, о его стремлении найти себе какую-то отдушину. И выслушала эту сплетню не очень внимательно, даже с легкой неприязнью. Но, обнаружив Людовика под окном и увидев его лицо, такое искаженное, словно он вышел из чистилища, а не из рая, прониклась к нему острой жалостью.

— Вы ужасно бледны, — сказала она. — Ну-ка, влезайте в окно.

Он повиновался, но так нерешительно, что она поскорее усадила его на стоявшую перед роялем трехместную банкетку и, сев рядом, с любопытством взглянула на него. Спокойствие Людовика показалось ей необычным, так же как и его лицо, — всегда замкнутое, сейчас оно светилось, а рассеянный взгляд сегодня был живым и блестящим. Она вновь наиграла правой рукой ту же музыкальную тему.

— Да что с вами?

— Я не видел этот рояль открытым с самого детства, — ответил он и как-то неопределенно

взмахнул рукой, выражая Фанни свое восхищение.

— Никогда не видели открытым? Просто невероятно! А ведь это прекрасный «Бехштейн», и, хотя им явно давно не пользовались, звучит он великолепно. Я попросила Мартена найти настройщика, и тот приезжал сегодня утром. Он работал очень тихо. Да и стены в этом доме такие толстые. А вообще… господи, до чего же тут все уродливо! — добавила она, забыв, что запретила себе любые комментарии по поводу интерьера Крессонады.

— А что это вы играли? От этой мелодии прямо сердце замирает, — сказал он и покраснел. — Знаете, я ничего не понимаю в музыке, ну ровным счетом ничего. Когда я лежал в клинике, мне удалось купить обалденный транзистор, с маленькими такими наушниками, — это меня успокаивало. И чего я только не наслушался! — продолжал он, беззлобно умолчав о том, что музыкальные отрывки были ему предписаны в качестве терапии.

А ведь он мог бы ей рассказать: «Как же мне доставалось, когда я просил этих сволочных врачей назвать мой диагноз, а они держали меня взаперти, обвиняли в хроническом слабоумии

и говорили, что я опасен для общества. И никто, никто не защитил меня, не утешил, не вызволил оттуда, — ни мой отец, ни моя жена. У меня все отняли, вплоть до уверенности в себе, в том, что я смогу снова наслаждаться жизнью. И с тех пор постоянно унижают. Вот почему я теперь вынужден спать со шлюхами, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество».

Фанни резко отвернулась и снова наиграла тот же пассаж.

— Это Шуман, — пояснила она дрогнувшим голосом. — Кажется, тема одного из его квартетов. Красивая мелодия, правда? Трогает до глубины души, вы согласны? Знаете, я ведь не умею играть, совсем не умею… Есть некоторые люди, которых я люблю…

Они сидели между окном и роялем. Своевольное солнце дерзко врывалось в комнату сквозь ставни, золотило волосы Людовика, широко раскрытые глаза Фанни, устремленные на правую руку, на медовый, горький мотив Шумана.

— Я открыл для себя эту музыку только сегодня, здесь, — вдруг объявил Людовик. — И это нормально, потому что сегодня я впервые открыл для себя любовь и могу наконец любить кого-то. Любить… вас, — твердо сказал он. — Теперь я не

смогу без вас жить.

— Но… послушайте… это же несерьезно, — пролепетала Фанни, пытаясь засмеяться и отодвинуться от него.

Однако ей удалось лишь запрокинуть голову, лицо, которое тотчас настиг жадный рот Людовика. Он оперся обеими руками на банкетку, прикасаясь к Фанни только губами, которые находили ее щеку, лоб, шею, покрывая их почтительными, но настойчивыми поцелуями с трогательной нежностью, которая вызывала у нее невольные стоны. А он все твердил: «Я вас люблю, я люблю вас», и его голос наконец-то звучал уверенно. Между ними не было ничего, что побудило бы Фанни оттолкнуть его — ибо он не касался ее, не удерживал, — всего лишь это лицо, эти губы, касавшиеся ее то здесь, то там, это смутное ощущение, что все происходящее естественно, — и это волшебное спокойствие, и эти бурные толчки крови в венах…

* * *

Близился вечер, но они забыли обо всем на свете. Людовик бессвязно лепетал какие-то слова — восторженные, изумленные слова благодарного обладателя (уже), подсказанные тем, что придавало ему в глазах Фанни новое обаяние, —

проснувшейся мужественностью, волей, а теперь еще и благоговейным трепетом — подарком любви и наслаждения, когда им случается сойтись вместе.

Эту ситуацию — безумную, по мнению Фанни, — ее тело, однако, восприняло так естественно, что она неудержимо смеялась, пытаясь объяснить причину своего смеха Людовику, сперва удивленному, а вскоре покоренному и завороженному, как он отнесся бы к любому проявлению чувств, исходившему от нее. Лежа на боку рядом с ним, она угадывала сквозь сомкнутые веки статную фигуру этого мужчины, бархатистость его сухой кожи, широкие плечи, силу, а главное, уверенность в себе. Она не думала ни о его возрасте, ни о своем и, уж конечно, не считала это препятствием, принимая просто как мелкий факт, такой же незначительный, как разный цвет их волос. А он восхищался каждой частицей ее тела, даже самыми крошечными его недостатками, словно чудесным открытием, нежданным подарком судьбы. И она упивалась этим взглядом, прикованным к ней так жадно и так неотрывно, что критика или робость были тут совершенно ни при чем.

Так же как дверь в пяти метрах от них, ведущая

в салон и к вполне возможному скандалу.

* * *

За ужином они сидели с довольными, слегка усталыми лицами, и их ленивые, томные жесты насторожили Филиппа. Он слишком хорошо знал эти признаки наслаждения, даром что ему были незнакомы признаки любви.

Анри Крессон явился с повязкой на правой руке, причем непрерывно задевал ею за все солонки и перечницы и ругался, правда довольно сдержанно, соблюдая приличия, запрещавшие ему сильные выражения в присутствии трех дам — гостьи, невестки и законной супруги Сандры.

— Несчастный случай на производстве, и все из-за этого кретина — импортера из Токио, которому заблагорассудилось осмотреть нашу лущильную машину, новое чудо техники, она обошлась мне в двести тысяч долларов! — объявил он, угрожающе размахивая ножом перед Филиппом и Людовиком, испуганно таращившими глаза. — Я стал ему показывать эту… гм… проклятую машину, подошел слишком близко и задел рукой разделочный ремень… Ну да ладно… в общем, он поранил мне кисть.

И он простер над столом руку, демонстрируя повязку.

— Какой ужас! — воскликнула Фанни. — Слава богу, вы еще легко отделались!

— Вот именно, — плаксиво ответил Анри, скривившись, как от жгучей боли.

— Нужно быть осторожней, отец, — вмешалась Мари-Лор, ничуть не взволнованная, как и Сандра. — Но что понадобилось этому японцу в нашей туренской глуши?

— Да, действительно, — подхватила Фанни, — это ведь так далеко от Японии. Вам следовало бы пригласить его на ужин.

— Да их тут семеро, они представляют самых крупных импортеров семян в Японии и Азии.

— Целых семеро! — воскликнул Людовик, внезапно очнувшись. — Ничего себе! Если к ним приплюсовать еще и наш дурацкий прием, то у нас здесь прямо-таки эпицентр светской жизни!

И он разразился таким радостным хохотом, что все остальные застыли в изумлении, кроме Фанни, которая рассмеялась вслед за ним. Что касается Анри, то он нахмурился и мрачно заметил:

— Напоминаю тебе, мой мальчик, что этот «дурацкий прием» организован специально ради тебя. Чтобы доказать нашим знакомым, что ты вернулся из своих больниц нормальным челове-

ком, а не психом. Хотя лично я в этом не уверен.

— Ну, это мы еще посмотрим! — отбрил Людовик, не переставая смеяться.

— И еще хочу тебе напомнить, что, пока ты там развлекался с медсестрами, я здесь вкалывал с утра до вечера!

Наступило продолжительное молчание; все сидели, опустив глаза, и только Анри, слегка смутившись, плаксиво продолжал:

— В этом доме только я один и работаю. Ну и конечно, вы, моя дорогая, — добавил он, схватив и поцеловав руку Фанни.

Людовик рассмеялся еще громче:

— Увы, отец, с сестричками мне не повезло. Святые женщины, такие мускулистые, энергичные, — добавил он, обернувшись к Фанни с насмешливой миной озорного школьника, решившего завоевать внимание публики.

— Ну, ты, кажется, свое наверстал с юными помощницами мадам Амель, разве нет? — ядовито спросила Мари-Лор. — По крайней мере, так мне доложили.

«Она шипит, как ядовитая змейка», — подумала Фанни, у нее вдруг закружилась голова. Встав, она выпрямилась и гневно бросила:

— Я нахожу этот разговор крайне неприлич-

ным. Во всяком случае, он не для моих ушей. Прошу меня извинить…

И она вышла.

Филипп вежливо приподнялся со стула, Людовик перестал хохотать, и даже Анри Крессон слегка оробел.

Невидимое, но явное согласие между Фанни и Людовиком, а затем раздражение Фанни еще сильнее встревожили Филиппа. И возможно, даже Мари-Лор. Она тоже встала и последовала за матерью, впервые продемонстрировав таким образом семейную солидарность, которой доселе никто не замечал.

Мужчины остались одни. Анри пробормотал несколько фраз — видимо, извиняясь, но его не услышали. Тогда он поднялся, бросил: «Доброго вечера» — разъяренным тоном, каким командуют: «В постель!» И теперь за столом сидели только двое — Людовик, уставившийся в пол, и Филипп, уставившийся на Людовика.

— Как вы думаете, завтра будет хорошая погода? — спросил Филипп.

— Понятия не имею. Да и кто может знать…

— Ваша очаровательная теща, по-моему, очень на это надеется. Должен заметить, что эта женщина полна оптимизма. Воплощение нежности

— в ее-то возрасте…

— Я не знаю, сколько ей лет, — ответил Людовик, снова улыбаясь, как будто не мог удержаться, и это вызвало у его названого дяди смутное раздражение. Филипп никак не был связан с Фанни и, хотя относился к ней с изысканной учтивостью, прекрасно видел, что она смотрит на него, как смотрят на старую фотографию или на мумию, каковой он иногда и сам себя ощущал.

8

Когда Фанни снова увидела Людовика, она поняла, что это уже не прежний странный субъект без возраста и характера и, уж конечно, не робкий сирота, а мужчина, которому она теперь почему-то принадлежала. Больше всего ее тревожила его незлобивость — он и не думал гневаться или обижаться, когда с ним говорили свысока, с неумолимой враждебностью людей, которые нанесли кому-то смертельное оскорбление и сами же ненавидят за это свою жертву. Его снисходительность — или забывчивость? — только усугубляла подозрения окружающих. Фанни боялась, что причиной их враждебности могут быть самые низменные соображения, например материальные, и новая привлекательность этого человека блекла перед такой гипотезой.

Она решила поразмыслить об этом ночью и даже, может быть, уехать поутру, но в любом случае подробно все обсудить с Людовиком. Однако, едва улегшись в свою провинциально-пышную кровать — с бутылкой минеральной воды «Эвиан», стоявшей рядом, на ночном столике, точно строгая дуэнья, — Фанни преспокойно заснула. И под ее сомкнутыми веками мелькало одно и то же видение — Людовик, его смеющееся лицо,

почти вплотную к ее собственному, его золотистые глаза, сияющие от счастья. Она не понимала себя. Когда она впервые, много лет назад, увидела Квентина, с его сочными губами, с его внешностью типичного британца, в ней мгновенно вспыхнула любовь, вспыхнула страсть. Людовик же внушал ей только сочувствие и интерес. Так что же это с ней творится?!

Но что бы с ней ни творилось, она уже крепко спала и не услышала, как ее воздыхатель бросает в закрытые ставни мелкие камешки. И это наверняка было к лучшему.

* * *

Наутро, когда Фанни вошла в столовую, Людовик уже стоял там, устремив взгляд на дверь, все с той же, вчерашней улыбкой, и ее поразили его глаза, сиявшие нетерпением и восторгом. У нее сжалось горло от неожиданной нежности; она остановилась на пороге, попутно отметив, что Мари-Лор ест свои тосты, сидя к ней спиной, и, значит, не может видеть выражение ее лица. Впервые она почувствовала себя виноватой перед дочерью и, садясь за стол, ощутила сильное желание устроить Людовику сцену за его нескромное поведение, как будто он накануне изнасиловал ее, сделал ей ребенка. Словом, за то, что он усу-

губил ситуацию и без того достаточно мрачную, если учесть настрой всех присутствующих.

— Доброе утро, — с улыбкой сказала она, обращаясь к сидящим за столом с вежливостью, которая была у нее в крови.

В ответ она услышала разноголосые «добрые утра», в том числе из уст Филиппа, которого сначала не заметила; он сидел за столом, кутаясь в слегка поношенный халат. Анри уже отбыл на завод, а Людовик, казалось, грезил наяву.

— Боже мой, мама, неужели вы и сегодня намерены заниматься этой адской работой?

Мари-Лор снисходительно взглянула на вельветовые брюки и шелковую блузку Фанни.

— При вашей фигуре вам следовало бы чаще носить брюки, они вас молодят еще больше. Да-да, поверьте, — добавила она, словно кто-то намеревался оспорить этот комплимент.

И Фанни радостно улыбнулась:

— Ты так думаешь? — Но тут же приняла озабоченный вид и, бросив на дочь растроганный взгляд, посоветовала: — Что касается тебя, моя дорогая, носи лучше платья. Ты всегда выглядишь такой очаровательной, с твоей тонкой талией, в плиссированных юбочках и туфельках с узким носком…

— Ну, сейчас я все-таки переоденусь, — сердито ответила Мари-Лор, указывая на свой костюмчик от Шанель. — Мне пора ехать на гольф.

Она обиделась на замечание Фанни по поводу ее нарядов, особенно в присутствии Людовика, который восхищался ее обликом, невзирая на свои неприкрытые измены, хотя сегодня не отрывал взгляда от ее матери. Фанни и в самом деле выглядела сейчас на удивление молодо, и упоминание о ее подлинном возрасте могло привести к нежелательным последствиям. Она встала из-за стола.

С тех пор как Людовик вернулся из лечебницы, Мари-Лор зачастила в гольф-клуб, где в послеобеденное время встречалась с несколькими друзьями-иностранцами, по ее выражению — «каким-то чудом сбежавшими из „Рица“»; отсутствие мужа она объясняла тем, что он «восстанавливается», — этот неопределенный и скорее тревожный термин лучше всего оправдывал его отсутствие — по правде говоря, весьма желаемое. Она часто вздыхала, думая об одном своем поклоннике — американце с солидным состоянием, хотя, увы, не очень благородного происхождения. Ну в самом деле, нельзя же после трехлетнего безупречного полувдовства

удовлетвориться каким-то промышленником из Миннесоты! После гольфа она вернется в Крессонаду, позвонит, как всегда, друзьям, но еще, как и каждый день, мэтру Пересу и мэтру Сенью — нынешнему и будущему защитникам ее наследства, вернее, части состояния Крессонов. А потом еще часок побеседует с Филиппом — она кое-что начала обсуждать с ним после того, как побольше узнала об эскападах обоих Крессонов, отца и сына.

* * *

В тот день кабриолет Людовика — подарок отца к его возвращению из больницы — ждал их с Фанни перед террасой. Молодой человек вприпрыжку сбежал по ступеням.

— Главное, не забыть цветы для Мари-Лор! — крикнул он. — Я уже всем рассказал, что мы едем за покупками.

Казалось, он в восторге от собственной двуличности. Фанни просто не знала, что ей делать с этим ненормальным! Он клялся, что обожает ее, занимался с ней любовью именно так, как ей нравилось, и уже несколько лет считался невменяемым. Так чего же она хотела от этого человека? Не презирать его. А впрочем, по какому праву?

Вокзал был не так уж далеко. Достаточно сесть в поезд — и она раз и навсегда избавится от поведения, от выходок этого человека, способного сделать ее всеобщим посмешищем.

— Ключи у тебя? — спросил Людовик.

— Да, — сухо ответила Фани и, порывшись в сумке, вынула их.

Открыв дверцу, она сунула ему ключи и села на пассажирское место. Прежде он просил ее вести машину: не дай бог, если что… и она, как правило, соглашалась; вот и сейчас он нагнулся и с тоскливым беспокойством посмотрел на нее сквозь стекло. Но она не дрогнула. За прошедшие две недели это стало у них правилом: мужчина, который клялся ей в любви, обладал ею, не должен вести себя таким образом, заставляя ее, Фанни, весь день сидеть за рулем. А главное, не должен позволять своей жене обращаться с собой как с ничтожеством. Вначале она его жалела, но теперь… теперь она жалела только себя. Себя, которая сидела в машине рядом с этим молодым человеком, в общем-то неполноценным; себя, которая была вынуждена зарабатывать на жизнь, которая жила без мужа и которая пожертвовала своим отпуском ради этого бессердечного буржуазного семейства.

— Что-нибудь случилось?

— Поехали, Людовик. Будь добр, садись за руль, я устала.

С этими словами Фанни откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.

После недолгой паузы она услышала, как Людовик садится рядом с ней, прогревает мотор и нажимает на педаль газа. Машина плавно тронулась с места. Фанни продолжала сидеть с закрытыми глазами, желая показать, что доверяет ему, но главным образом действительно от усталости.

— Я не знаю, где тут дворники, — произнес веселый, почти торжествующий голос. — Никак не вспомню…

Она разомкнула веки, с минуту смотрела на озабоченное, но невинное лицо, обращенное к ней, потом включила дворники левой рукой.

— А тебе не страшно ехать со мной? Я боялся тебя просить об этом, но, знаешь, я ведь потихоньку тренировался после твоего приезда.

— Совсем не боюсь. Почему я должна бояться?

И она снова закрыла глаза.

Людовик молча довез Фанни до Тура — города соблазнов, где стал изображать раба в каждом

магазине: покорно возил за ней тележки, громко одобрял каждую покупку. Его окружал рой продавщиц, крайне заинтригованных скупыми рассказами мадам Амель о молодом Крессоне. Настоящий джентльмен, — может, и ненормальный, но посмотрите, как заботливо он относится к своей теще и какой любезный, не то что его супруга — злобная ведьма!

Они стояли в центре большого универмага, и Фанни никак не могла решить, покупать ли ей фарфоровые вазы, которые планировалось расставить на столах; наконец она заплатила и указала Людовику на ценник:

— Что ты скажешь?

— О, тебе же дали полную свободу действий, вот и действуй. А цена не имеет значения, — добавил он, таща ее за рукав к выходу. — Это же для того, чтобы пустить пыль в глаза здешним шишкам; вот увидишь — для собственных приемов они накупят точно таких же!

— Ну, на их приемы я, слава богу, не попаду, — со смехом ответила Фанни, пока Людовик усаживал ее в машину и складывал, следуя ее указаниям, покупки в багажник; сейчас он никак не походил на смиренного больного, одурманенного медикаментами или презираемого близкими.

Итак, она сидела в этой неудобной машине, как вдруг Людовик, прямо посреди улицы, нагнулся и поцеловал ее в волосы, быстро и не скрываясь. Фанни резко выпрямилась:

— Вы с ума сошли, Людовик Крессон! Что скажут жители Тура?!

— А пусть говорят что хотят. Мы ведь в любом случае уедем отсюда и будем путешествовать, правда же? Я ведь совсем никуда не ездил и ничего не видел. Но это, конечно, в том случае, если вы любите путешествия.

Фанни в полном отчаянии откинулась на спинку сиденья. В эту минуту она отдала бы все на свете, чтобы оказаться в отеле, пусть даже в этом Туре, который ей так не нравился, запереться на ключ в номере, прийти в себя и вернуться в Париж, в свою «Крессонаду» площадью в сто квадратных метров. «А впрочем, — подумала она, — что тут страшного? Подумаешь, какая драма! Я просто сделала глупость, приехав на три недели в эту провинцию, чтобы выручить дочь, которая меня смертельно раздражает, потом совершила еще одну глупость, уступив этому мальчишке, затравленному своей родней, и что же — неужели с любовью навсегда покончено?»

Однажды, после смерти Квентина, Фанни слу-

чилось провести ночь с человеком, который уже назавтра заставил ее раскаяться в своей уступчивости — так открыто он торжествовал, так нагло кичился этой победой. Хуже того, он оскорбил само ее представление о любви, внушенное ей когда-то Квентином и предполагавшее определенное уважение к партнеру. За эти годы Фанни довелось видеть вокруг себя множество мужчин, наделенных тонким умом, которые тем не менее обращались со своими женами и любовницами как последние негодяи; видела она и очаровательных женщин, которые не стеснялись рассказывать о гнусностях мужей и возлюбленных своему парикмахеру. Общество отринуло пуританские представления о любви — вместо них воцарилась противоположность, именуемая свободой, которая крайне удивила Фанни, когда она ее обнаружила, поскольку Квентин и ее собственная слепота всю жизнь ограждали ее от этого. И теперь ей была отвратительна сама мысль о том, что неспособность любить сочетается с необузданным стремлением демонстрировать всему свету свои любовные похождения.

* * *

Весь день Фанни и Людовик разъезжали по

улицам Тура, покупая все необходимое согласно списку, который Фанни прилежно составила три дня назад и который теперь казался ей и нелепым и неуместным. Она рассуждала о погоде, о подробностях этого приема, о внешности жителей Тура, и Людовик, не переча, коротко поддакивал ей. Но, поворачиваясь к нему, она видела унылое, встревоженное лицо человека, убежденного в том, что он провинился. Правда, он не понимал, в чем именно, и потому больше молчал; боязнь старила его, искажала его черты. В нем уже не осталось ничего от вчерашнего юного, безмятежного и счастливого любовника. Снова он выглядел одиноким, отчаявшимся, неожиданно повзрослевшим (таким делает человека безысходность, как будто его загнали в угол — в угол комнаты, в угол жизни, спиной ко всем надеждам на будущее) — и одиноким, опять, как прежде, одиноким, безнадежно одиноким. Еще вчера он надеялся спастись от этого одиночества, но теперь понимал, что обречен на него до конца жизни, и уже не пытался сопротивляться.

Он нравился Фанни, и при мысли об этом ее охватывала дрожь. Пленительная красота его гладкой кожи, длинных полуопущенных ресниц, тревожных глаз, больших рук, сжимающих

руль, таких сильных, но, как ни странно (она уже знала это), таких чутких и нежных, — все, что она открыла в нем вчера, сегодня заставляло ее отворачиваться, как в самые пылкие мгновения ее страсти к Квентину.

И чем больше она об этом думала, тем больше дивилась себе, боялась себя.

Такая близость, такое неудержимое влечение к кому-то с первого же объятия… да разве это возможно?! Они сошлись на чужой территории, без страха, без любопытства, без колебаний. Теперь им оставалось только одно — уповать на судьбу, и так ли уж было важно, старше она его на десять лет или младше, грозит ли это скандалом, владеет ли он своим рассудком и противоречат ли все ее привычки, вся жизнь случившемуся — тем двум часам в комнате, где стоит рояль?!

9

Этим вечером застольная беседа текла довольно вяло. Анри Крессон задавался вопросом, отчего туристы непременно желают посещать одни и те же достопримечательности, в частности Нотр-Дам, — сам он находил этот собор чересчур громоздким, унылым и переполненным скульптурами.

— И потом, — добавил он, — эти кошмарные головы, торчащие со всех сторон… как их там зовут, этих чудищ, понатыканных снаружи?

— Гаргульи, — ответил Людовик.

— А ты-то откуда знаешь? — удивился Анри, словно сын открыл ему страшную тайну устройства атомной бомбы.

— Вот именно! Откуда такая богатая эрудиция? — удивилась Мари-Лор. — Кстати, гаргульи, о которых тебе кто-то сообщил, по-моему, прежде были не каменные…

— Верно, все — кроме одной. На которой я женился.

Невозмутимое заявление Людовика было встречено продолжительным ледяным молчанием. Анри, крайне довольный отпором сына, покраснел и открыл было рот, чтобы высказать свое мнение — наверняка неуместное, но реша-

ющее, — как вдруг у них над головами раздался мерный глухой шум. Сидящие за столом замерли, вытаращив глаза, с вилками в руках. Над столовой располагалась спальня Сандры, которой с некоторых пор было запрещено вставать; она лежала в постели, а за ней ухаживала ночная сиделка, настолько же тщедушная, насколько грузной была ее пациентка.

— По-моему, это шаги призрака короля, «Гамлет», акт первый, — дерзко прокомментировал вконец осмелевший Людовик.

— А ну замолчи! — прикрикнул Анри, вскочив с места. — Нужно немедленно уложить ее в постель. Доктор Мюрат… или Марат… как его там… еще вчера строго наказал ей не вставать. Филипп, ну-ка поднимись туда и заставь ее лечь, а я сейчас, следом за тобой. Давай-давай, шевелись, старина!

Его шурин, скорее послушный, чем озабоченный, побежал наверх.

А Мари-Лор медленно приходила в себя после выпада Людовика.

— Да что это с ней? — вопросил Анри, имея в виду свою супругу.

Он встал и медленно направился к лестнице, Фанни пошла следом за ним.

Но их остановил голос Мари-Лор:

— Послушайте, ваша жена уже целую неделю ходит по комнате. Она решила сделать вам сюрприз ко дню приема.

— Не может быть! — вскричал Анри с искренним огорчением. — Она не должна… не имеет права! Даже врач… как его там… ну, который из Отель-Дьё[22], сказал мне, что нельзя…

— А ей на это наплевать, отец.

— Да, но она выглядит… у нее лицо… как переспелый помидор, как сырое мясо… Не дай бог, грохнется в обморок, когда подадут десерт, или еще черт знает что отмочит!.. Нет, нет и еще раз нет! А Фанни? Разве гостей будет принимать не Фанни? Я уже объявил всем моим друзьям, что в Крессонаде в кои-то веки их будет встречать красивая дама! — И он поспешил добавить: — У Сандры, конечно, тоже есть достоинства… другие…

Фанни, шокированная донельзя, вскипела:

— Да разве можно так говорить о своей жене?! Во-первых, я охотно передам ей бразды правления, а во-вторых, вы позволяете себе так выражаться…

— Да ладно, это я не со зла, — пристыженно ответил Анри. — И потом, это же правда… ну, то

есть… сами знаете, мужчины… — Он плотоядно ухмыльнулся, что ему совсем не шло, и добавил с обычной своей изворотливостью: — Это ж я так просто, для красного словца. Неужто вы никогда не слышали, как мужчина сравнивает женщину с сырым или жареным мясом? Может, и несправедливо, но уж точно не по злобе…

— Нет, никогда не слышала! — твердо ответила Фанни. — В моем присутствии ни один мужчина не сравнивал свою супругу с сырым или жареным мясом.

При этих словах ее одолел нервный смех, и она, приняв неприступный вид, поспешила выйти из комнаты.

— Никогда! — повторила она уже на лестнице. — Никогда!

И, добравшись до площадки, почти побежала к своей комнате.

А Мари-Лор, Людовик и Анри остались втроем, с притворно-беззаботным видом вслушиваясь в звуки там, наверху. Наконец шаги в комнате над их головами стихли.

— Мартен, — спросил Анри, как будто двое других, сидевших за столом, были глухими, — вы ведь ничего не слышите там наверху, верно?

— Нет, не слышу, месье, — ответил дворецкий,

протягивая Анри сырную тарелку, которую тот брезгливо оттолкнул.

— Но вы же наверняка слышали их только что, минуту назад?

— Нет, месье, — повторил Мартен все так же бесстрастно.

И они враждебно воззрились друг на друга.

— Ладно, давайте-ка унесите этот сыр! Никто его не хочет.

Мари-Лор (которая терпеть не могла сыр) из духа противоречия подняла было руку, чтобы подозвать дворецкого, но, взглянув на свекра, тут же опустила ее на стол.

— Как бы то ни было, — сказал Анри, — Филипп оказывает благотворное влияние на свою сестру: она, видимо, снова легла в постель!

— Если только он не уложил ее каким-нибудь приемом джиу-джитсу, — предположил Людовик.

Мари-Лор, впервые со дня возвращения мужа, посмотрела на него с одобрительной улыбкой, на которую он никак не отреагировал. Его взгляд был с интересом устремлен на отца: Анри явно колебался между своим долгом по отношению к Сандре и сильным желанием уклониться от него. Наконец он принял решение и, вскочив с

места, стремительно направился в прихожую. Людовик и его жена остались наедине, но через минуту и они поспешили встать из-за стола. Что же касается Филиппа, тот так и не вернулся в столовую, а потому не смог насладиться комплиментами семьи по поводу его дипломатических способностей.

* * *

В одиннадцать часов вечера мадам Амель принимала в маленькой гостиной, украшенной салфеточками, двух своих протеже, сидевших одна на диване, другая в кресле, и выслушивала их жалобы. Первая поимела дело с незнакомым клиентом — настоящим сексуальным маньяком, от которого избавилась только благодаря умению быстро бегать. «Никогда не связывайся с туристами или незнакомцами!» — в сотый раз повторила мадам Амель, протягивая ей эластичный бинт, чтобы стянуть лодыжку, подвернутую на тротуаре. Вторая, так же испуганно съежившись, с надеждой взирала на Сильвию Амель, которая присела к маленькому секретеру, чтобы настрочить категорический отказ старому другу, имевшему наглость прислать этим утром письмо с требованием мзды в размере двухмесячной прибыли. Сейчас лицо мадам Амель,

оглашавшей внушительный список своих покровителей-чиновников, напугало бы не одного вымогателя-сутенера. Именно в такой гнетущей атмосфере оказался внезапно явившийся Анри Крессон, — впрочем, она вполне соответствовала его настрою. Сегодня голые ножки, шампанское и игривые взгляды только разозлили бы его. Он потребовал, чтобы мадам Амель срочно уделила ему немного времени и дала несколько советов, поскольку еще совсем недавно он имел случай оценить скромность и здравомыслие своей старой знакомой. «И кстати, — добавил Анри, — я давно собирался оплатить новый орга́н для церкви Святого Евстахия (вотчины мадам Амель), на который наши скряги никак не соберут денег». Мадам Амель тут же оторвалась от своей огнедышащей прозы, свернула письмо, выставила обеих злополучных девиц в спальню и плотно прикрыла за ними дверь.

Анри Крессон, сидевший среди салфеточек, выглядел быком — отважным, но опрометчиво украшенным кокардами и выпущенным на свободу еще до начала корриды. Он залпом выпил две порции коньяка и обратился к своей закадычной подруге:

— Тут вот какое дело. Вам известно, что у

Сандры недавно случился очередной апоплексический приступ, и теперь наши профессора велели ей лежать. Поэтому моя свояченица… то есть родственница… ну, в общем, мать моей невестки, мадам Фанни Кроули, любезно согласилась принимать гостей вместе со мной и сыном. Она очаровательная женщина.

— Это верно, — согласилась мадам Амель. — Я ее видела в «Трех дельфинах», она покупала складные стулья для вашего приема и показалась мне в высшей степени любезной и элегантной — настоящая парижанка! И такая моложавая… Интересно, сколько ей лет?

— Э-э-э… понятия не имею, — признался Анри. — Но сколько бы ни было, я считаю ее молодой, красивой, обходительной, веселой и аппетитной. Очень-очень-очень аппетитной…

— Несомненно… — подтвердила мадам Амель, не понимая, куда он клонит.

— Она работает в Париже у одного известного кутюрье — забыл его фамилию. Работа, конечно, престижная, но совсем недоходная…

Тут Анри на миг осекся, а потом решительно закончил:

— Короче, я решил на ней жениться.

Сильвия Амель, которая посвятила начало

вечера двум перепуганным девицам, теперь принимала в своей гостиной главного промышленника их края, работодателя для сотен людей, а следовательно, поставщика сотен клиентов для нее, и этот человек явно потерял голову. Может, он просто пьян? Она встала с кресла и спросила, стараясь говорить как можно мягче:

— Месье Крессон, разве вы не женаты?

— Женат, и слишком давно! — вскричал Анри Крессон, также поднявшись с места. — Но вы же прекрасно знаете: моя жена — настоящая фурия. Это всему городу известно. А потом, у нас, черт возьми, существуют разводы!

И он снова сел. Мадам Амель плеснула себе коньяку.

— А она об этом знает?

Имелась в виду Сандра, но Анри лишил свою законную супругу первенства:

— Нет… Фанни еще ничего не знает, и Сандра тоже; словом, никто не знает — я решил сперва обсудить это с вами.

Оправившись от шока, мадам Амель сказала:

— Поверьте, я крайне польщена вашим доверием… Быть вашей первой советчицей — большая честь. Но если я правильно поняла, пока ничего не сделано?

— Будет сделано в ближайшие дни, — заверил ее Анри.

— Но разве мадам… э-э-э… мать вашей невестки уже согласилась?

— Еще нет, я с ней пока ни о чем не говорил, но женщины, знаете ли, чувствуют такие вещи… — сказал он с видом опытного психолога, что убедило мадам Амель лишь наполовину. — Я тут подумал, а не объявить ли эту новость на нашем приеме, сразу всем, кроме Сандры, конечно, — она ведь будет сидеть у себя в комнате… Отличная мысль — сразу две хорошие новости на десерт: мой сын не сумасшедший, а я женюсь на очаровательной женщине…

Вид у Анри был крайне довольный.

«Господи боже мой, — подумала мадам Амель, — да он просто свихнулся!»

— А что касается Людовика, то он, бедный малыш, вырос без матери и относится к Фанни с большой теплотой.

Мадам Амель, помнившая о единодушных и подробных комплиментах своих подопечных в адрес Людовика, с его теплотой и вдобавок личным обаянием, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, притворяясь, будто серьезно размышляет над этой ситуацией, на самом деле

совершенно безумной, чреватой одними только кровосмесительными дуэлями и жестокими убийствами.

— Месье Крессон, на вашем месте я все же выждала бы несколько дней после приема, чтобы решить все это. Нельзя, чтобы мадам Крессон… Сандра… узнала эту новость последней.

— Ха-ха, недаром же говорят, что последними все узнают рогоносцы. О, пардон… Я не всегда удачно выражаюсь — это единственный мелкий недостаток, в котором меня упрекает Фанни.

У Анри был такой довольный вид, что мадам Амель оставалось лишь поддакнуть:

— Ну разумеется, это уже мелочи. Но скажите: разве у нее самой нет других… э-э-э… привязанностей в Париже?

— Даже если и есть, я с этим разберусь! — свирепо воскликнул Анри.

Они с мадам Амель уже практически прикончили бутылку коньяка, обменявшись тостами и пожеланиями счастья друг другу, после чего она все же рискнула сказать:

— А вам не кажется, что вместо женитьбы на вашей очаровательной Фанни вы могли бы обеспечить ей прекрасную, беззаботную жизнь в Париже, не устраивая драм у себя дома, не доводя

до истерик вашу супругу и не вызывая сплетен в обществе?

— Фанни не кокотка, мадам Амель! На таких женщинах только женятся!

— А может, стоило бы для начала с полгодика пожить с ней *так*, чтобы убедиться, подходите ли вы друг другу? Вы ведь знаете: между разводом и вторым браком должно пройти не менее трехсот дней…

Но Анри был неумолим.

— Тогда мы поженимся на Таити, или в Андорре, или в Люксембурге, и потом, здешний мэр — мой друг…

— А понравится ли ей жить в деревне? — спросила мадам Амель; у нее уже слегка мутилось в голове (коньяк и психологический шок делали свое дело).

Анри призадумался:

— Она сказала мне, что было бы неплохо придать дому общую внешнюю и внутреннюю целостность.

Он с трудом встал, кое-как утвердился на ногах, стряхнул с брюк приставшую кружевную салфеточку и поцеловал руку мадам Амель.

— О господи, уже два часа ночи!.. Тысяча извинений… И еще раз спасибо за ваш совет.

Но какой именно совет он имел в виду среди множества тех, которые надавала ему мадам Амель? Она так устала, так была потрясена, что даже забыла напомнить ему про орга́н Святого Евстафия.

10

Вконец расстроенная, Фанни упала на кровать, даже не раздевшись. Во время ужина на улице лил дождь, но сейчас у нее за окном простиралось чистое темно-синее небо, усеянное тысячами крошечных мокрых и съежившихся звездочек. Она полежала пару минут, слыша только спокойный голос ветра, который медленно вздымал листья платана, иногда складывая их один к другому, точно страницы требника, перевернутые бережной рукой кюре. Потом разделась и приняла ванну, повторяя громко, вслух: «Сырое мясо — ну нет, никогда!» Она вспоминала, как неумолимо смотрела на бедного Анри, который пытался свести к шутке это сравнение — кстати, скорее дурацкое, чем грубое, — и ее одолевал смех.

* * *

В четыре часа утра дверь из коридора скрипнула и в комнату проскользнул Людовик. Он еще не снял дневную одежду — и правильно сделал. Явись он сюда в полной боевой готовности — тщательно побритым, в красивом халате, изображая нарядного, уверенного в себе любовника, она тут же выставила бы его вон. Но сейчас, когда Фанни включила лампу у изголовья, она увидела, что он стоит — растерянный, растрепанный — на другом

конце комнаты, у окна, готовый скорее выпрыгнуть наружу, чем броситься к ней в постель.

— Людовик… — сказала Фанни, инстинктивно понизив голос до шепота, хотя ближайшая занятая спальня находилась через две комнаты; она была отведена Филиппу, который, вопреки своему романтическому прошлому, храпел на весь дом, мешая спать остальным, особенно если оставлял дверь открытой.

Людовик стоял перед ней с всклокоченными волосами, в смятой рубашке и, поверх нее, в том же, что за ужином, каштановом пуловере из ангоры. «Его любимый пуловер», — машинально отметила Фанни и сама себе подивилась: откуда ей знать весь гардероб молодого человека? Тем не менее этот каштановый пуловер, рубашка приглушенного красного цвета, вельветовые брюки и почти новые мокасины прочно запечатлелись у нее в памяти. Она знаком велела ему сесть.

— Людовик, сейчас четыре часа утра. А вы так и не сняли костюм, не надели пижаму, не легли в постель…

Ее голос, поначалу веселый, звучал все слабее, по мере того как она теряла интерес к собственным словам. Он прервал ее взмахом руки, почти бесцеремонным, как это сделал бы Анри:

— Я пришел сказать, что если чем-то обидел или шокировал вас, то совсем не нарочно. С самого утра я ищу… и не нахожу вокруг ничего, кроме ваших глаз, вашего голоса, такого непривычного. Я слишком несчастен, вот и все… — С этими словами он поднял голову, взглянул ей прямо в лицо и добавил: — Видите ли, я не думал, что вы меня так любите… *так* полюбите; мне казалось, что вы *просто* любите меня, что мы друг другу нравимся…

— Но это правда, — ответила она.

И верно: сейчас, когда он прилег у ее ног на кровати, он ей очень нравился.

— Я никогда никого не любила, кроме Квентина, моего мужа, — продолжала Фанни. — Помимо всего прочего, он был мне защитником, оберегал от мира, от людей… А теперь я осталась одна. Я зарабатываю не так уж много, но мне нужны не деньги, а другое — чувствовать себя защищенной, ты понимаешь?

Людовик кивнул. Он не спускал с нее глаз, но это ее почему-то не стесняло.

— А вот здесь нужно защищать тебя, именно тебя, от всех этих людей, — она махнула рукой в сторону коридора, — которые так с тобой обошлись, которые насмехаются над тобой,

опасаются тебя, унижают — вместо того чтобы каждый день просить у тебя прощения… И моя дочь — первая… Теперь ты понимаешь, — сказала она, — почему я не хочу иметь ни сына, ни покорного любовника.

Людовик встал, подошел к окну.

— Ты права, — глухо промолвил он, — но они запугали меня… И пугают до сих пор. Что, если они снова отправят меня туда? Мари-Лор сказала, что для этого достаточно одного телефонного звонка… И потом, когда я находился там, они были единственными, кто приходил ко мне извне, единственными, кто меня навещал; мне казалось, что они пытались вызволить меня оттуда, понимаешь? Мой отец, его жена, моя жена… Если бы не они, я, наверно, до сих пор находился бы там.

Настала долгая пауза. Внезапно Фанни выпрямилась.

— Но ведь это врачи тебя освободили! — гневно воскликнула она.

И тут у нее словно что-то разорвалось в груди. Она позвала: «Людовик!» — и, вероятно, сделала какой-то призывающий жест, потому что миг спустя он уже сжимал ее в объятиях, осушал поцелуями текущие слезы, которых она не замечала, успокаивал, прося забыть все зло, что

причинили ему, Людовику, и что было невыносимо ей, Фанни.

— Маленький мой… — лепетала она теперь с нежностью, которую поцелуи Людовика, руки Людовика превращали, сперва медленно, потом нетерпеливо, в лихорадочные жесты.

Лампа была погашена, женщина стянула с мужчины свитер через пылающую голову, рубашку и брюки он сам сорвал с себя, а туфли сбросил, поддев одной другую. Слова любви смешались со слезами, мужской рот жадно прильнул к женскому… Все увенчал звук двух соединившихся тел, как двух листков платана, как двух страниц требника… И ветер, тот самый ветер, что поднимается с рассветом… **11**

Анри Крессон вернулся под защиту родного дома и даже своей супруги, тихонько войдя через узенькую дверцу в коридор, ведущий прямиком в его ванную. Он пробрался в спальню на цыпочках так тихо, как только возможно после немалого количества коньяка и сильного возбуждения. Дыхание жены, любовно — или укоризненно? — оставившей приоткрытыми обе двери между их комнатами, доносилось до него то храпом, то посвистыванием. И это свидетельство доверия и здоровья внушало Анри нечто вроде досрочного

и благодушного сожаления, довольно близкого к стыду.

Он подошел к своему секретеру, с виду вполне современному, а на самом деле изготовленному его дедом, Антуаном Крессоном, мастером-краснодеревщиком, фанатичным любителем своего ремесла и всяческих секретных устройств. Нужно было нажать на верхнюю часть одного из ящичков, толкнуть его, одновременно сильно пнуть нижнюю часть секретера, ну и так далее, чтобы открыть потайное отделение, где мирно покоилось завещание, спрятанное тем более надежно, что его копия спала таким же мирным сном у парижских нотариусов «Мэтры Локóн и Локóн-сын». Анри Крессон бросил документ на кровать, разделся и начал его переписывать.

* * *

На следующий день Фанни снова отправилась за покупками — на сей раз не в Тур, а подальше, в Орлеан, где ей уж точно было обеспечено полное инкогнито. Там она купила «Отчуждение от общества», «Закон и душевные болезни» и еще несколько книг, которые просмотрела, сидя в кафе, перед тем как вернуться в Крессонаду. По возвращении она положила книги, отметив несколько страниц, на кровать Людовика. А по-

путно, проходя через комнату дочери, увидела роскошную обстановку, изысканные безделушки, привезенные из Парижа, и ее передернуло от возмущения: в отличие от этих покоев, спальня Людовика внизу, куда вела лесенка, напоминала заброшенную солдатскую каморку, хотя он и доселе здесь обитал. Вот когда она ясно вспомнила, каким презрительным тоном ее дочь говорила о Людовике, который все-таки был ее мужем, только прежде она с ним спала и жила, а теперь обращалась как с ненужной, надоевшей вещью. Зато она, Фанни, убедилась в его достоинствах нежного и пылкого любовника.

Уехав в Орлеан под предлогом встречи со старинной подругой, Фанни возбудила всеобщие подозрения — Филиппа, который во всем искал обман, Людовика, который уже затосковал по ней и которому любая ложь Фанни нанесла бы смертельный удар, и Анри, который не понимал, что ей делать за пределами Тура.

Около двух часов дня Людовик пробрался, в отсутствие Фанни, к ней в комнату и подошел прямо к кровати. Она застелила ее покрывалом, и, только откинув его, он увидел на простынях складки и вмятины — следы их долгой ночи. Ставни остались распахнутыми, повсюду были

разбросаны вещи Фанни, в ванной лежала ее ночная сорочка. И Людовику почудилось, что это бледно-розовое длинное скомканное одеяние ждет его, как ничья другая ночная рубашка никогда не ждала и не будет ждать. Он взял ее, поднял, потерся о нее щекой, уткнулся в нее лицом.

Внезапно чье-то покашливание заставило его вздрогнуть. Он обернулся и увидел Мартена. Мартен, как всегда, выглядел бесстрастным — или глупым, это как посмотреть. Странное дело: за долгие годы, отмеченные взаимным умалчиванием некоторых фактов, Людовик привязался к дворецкому, считая его безобидным существом, то есть непохожим на других членов семьи. Они долго глядели друг на друга, и Людовик разозлился на себя за этот испуг, разоблачивший его «виновность»; однако делать было уже нечего, и он медленно положил рубашку обратно на стул.

— Какая красивая ткань, — сказал он с завистью, словно ему и впрямь захотелось иметь нечто подобное.

На лице растерянного Мартена отразилось то же чувство, и это ужасно развеселило Людовика. Схватив сорочку, он с хохотом приложил ее к груди Мартена и повернул его к зеркалу, — увы, она не сделала дворецкого, с его лысиной и над-

менной осанкой, более привлекательным. После секундного созерцания своей фигуры Мартен с бесстрастным лицом вернул молодому хозяину предмет его грез.

— Да, приятное будет впечатление, — сказал он удивленному Людовику.

Тот не сразу уловил запах духов, неизменно выдававший присутствие его мачехи, где бы она ни была, — сложный и победоносный, как трубы «Аиды»[23]. Закутанная в халат с пестрыми разводами, она высилась в дверном проеме, а из-за ее спины выглядывала тучная дневная сиделка, явно не одобрявшая то, что она видела.

— И кто же из вас двоих собирается щеголять в таких пастельных тонах? — мрачно осведомилась Сандра. — Неужели это для нашего приема?

Людовик и Мартен заговорили наперебой, стараясь успокоить ее:

— Да нет, никто… Это просто шутка!.. Я только сказал Мартену, что при крещении он, наверно, выглядел очень мило в распашонке такого цвета… Да он и сейчас выглядит очень мило — смотрите, какое у него невинное, детское лицо…

Людовик то и дело запинался, и Сандра бросила подозрительный взгляд на дворецкого, желая проверить, не осталось ли чего-нибудь детского

во внешности ее надменного слуги.

— Я думаю, он в любом случае был не в розовом, а в голубом: мальчик — он и есть мальчик, что ребенок, что взрослый. Ладно, бог с ним… — вздохнув, заключила она и обратилась к Людовику: — Твоя названая мать разве не дома?

— Моя названая мать? — удивился тот, видя таковую перед собой.

— Ну не я же! Я спрашиваю про твою тещу, мать твоей жены Мари-Лор…

— Ах вот что… ну конечно, — с улыбкой ответил Людовик, — теперь понятно.

Мартен незаметно подталкивал его, побуждая выйти из ванной, но мачеха прочно стояла в дверях. Багровый цвет ее лица, даром что чуточку поблекший за последние три дня, все-таки напоминал скорее о фовистах[24], нежели об импрессионистах.

— Фанни… ну конечно Фанни… Как странно, а я и не считал ее родственницей, — пролепетал Людовик.

— Прошу меня простить, мадам, — вмешался дворецкий, который, почуяв надвигавшуюся опасность, подошел к двери.

— А куда это вы спешите, Мартен? Вы так и не объяснили мне, ни тот ни другой, что вы собира-

лись делать с этой розовой тряпкой? Ладно, тем хуже! Я смотрю, эта комната совсем не обставлена, — заключила она, неодобрительно покачав головой. — Я знаю, что у бедняжки Фанни нет в Париже стометровой квартиры, но здесь-то, в этой спальне, я же ей предлагала поставить всю необходимую мебель! Ну и ну…

12

Небо стало бледно-голубым, а на следующий день и вовсе лазурным. И лицо Сандры тоже сменило свой цвет сырого мяса на серовато-синий, весьма напоминающий синяк. Успокоенная этой переменой, она полюбовалась своим красивым, уже не таким кровавым профилем и назначила партию бриджа во второй половине дня у себя в спальне, пригласив Фанни и Мари-Лор (мужчины в этом доме глубоко презирали бридж). Правда, обе дамы уже много лет не участвовали в карточной игре и, следовательно, были слабыми партнершами, в отличие от четвертой участницы — «королевы», в миру носившей имя «мадам де Буайё», — по словам Сандры, «полученное от двоюродного деда Людовика XVI» и, по ее же словам, «способное уберечь от любой гильотины».

Людовик, планировавший лесную прогулку с Фанни, понял, что не увидит ее. Три дамы кое-как, бочком, разместились возле постели Сандры, удобно восседавшей в подушках напротив. А Людовик, решив утешиться, стал играть в теннис у стенки возле комнаты мачехи и нечаянно послал мяч в ее окно, и тот, разбив стекло, вдребезги разнес ее очаровательные фарфоровые статуэтки. За что навлек на себя проклятия Сандры,

упреки бедной «королевы», которой мяч попутно испортил прическу, выговор жены, и все это под смеющимся взглядом Фанни, который с лихвой утешил его. В результате он все-таки отправился гулять в лес. Тем временем Анри мирно наслаждался сиестой.

А партия в бридж продолжилась, на сей раз без всяких происшествий. «Королева» играла в карты с утра до вечера и привыкла возвращаться с богатой добычей на красивую виллу своего супруга, некоего Виллабуа, брак с которым она расценивала как последнюю ступень к трону. И теперь была совершенно уверена, что эти две неопытные парижанки обеспечат ей достаточную сумму для оплаты ее швейцарской гвардии. Мари-Лор и Фанни играли против Сандры и «королевы». Увы, во время этой двухчасовой королевской баталии Фанни продемонстрировала дерзкую, блестящую игру, и разгневанная венценосная особа тщетно пыталась ей противостоять. К восьми часам вечера Мари-Лор под унылые причитания Сандры с веселым торжествующим смехом подсчитала вслух выигрыш матери и свой.

— Боже мой, — воскликнула Фанни, — какая чудесная игра! Да это же трехмесячная плата за парижскую квартиру, и все благодаря даме треф

(позволившей ей эффектный финальный ход).

«Королева», разбитая в пух и прах, опозоренная и совершенно убитая, расплатилась, попрощалась и поспешила откланяться.

— Н-да, на ее коронации нам фрейлинами не бывать, — пошутила Фанни.

— Я вовсе не хотела затевать эту игру, — жалобно сказала Сандра.

— О, конечно, и тем не менее она обойдется вам в десять тысяч франков, — уточнила Мари-Лор, напоминая прижимистой свекрови, что та должна выплатить свой долг.

Делать нечего, Сандре пришлось раскошелиться. Мари-Лор ее утешила:

— Ничего, мама, зато вы прекрасный партнер, мне было приятно с вами играть.

— Везет в картах — не повезет в любви, — ехидно парировала Сандра. Что вызвало неудержимый хохот у тещи Людовика Крессона, совершенно непонятный ее партнершам.

Фанни разобрал такой смех, что ей пришлось спешно выскочить из комнаты и побежать по лестнице, ведущей в ее спальню.

* * *

Людовик постучал к ней в дверь еще до того, как зазвонил колокол к ужину. Фанни поняла,

что книги, которые она ему привезла, навели на него сонливость сильнее, чем любое снотворное. Казалось, причиненное ему зло теперь может исправить только она, и эта мысль на миг привела ее в полную растерянность. Всю свою жизнь Фанни чувствовала себя защищенной, сначала полагаясь на Квентина, затем, после его смерти, на самое себя — конечно, не без трудностей. И уж конечно, она и вообразить не могла, что ей придется защищать права какого-то вполне взрослого мужчины. От этого семейства исходила угроза, хуже которой ничего не было: оно могло под любым предлогом вернуть его в одну из тех адских обителей покоя и безмолвия, откуда он только что вырвался. Вот почему он прятал глаза и избегал любой темы, связанной с предстоящим нашествием непомерного количества гостей, неизвестных ему, готовых его судить, готовых поддержать Сандру в любых происках, направленных против него. И безразличие отца отнюдь не придавало ему уверенности в себе.

Фанни с горечью осознала, что даже Сандра, вставшая на ноги, даже Сандра, с ее теперь уже бледно-розовым лицом, не избавит ее от необходимости опекать этого юного любовника, нелепого, безответственного и беззащитного.

Единственной энергией, воодушевлявшей Людовика, была его страсть к ней, но и это чувство ему приходилось скрывать, как мальчишке, — в тридцать-то лет! Фанни, очаровательная, безупречная Фанни нежданно-негаданно оказалась вовлеченной в эту невероятную буржуазную комедию — вовлеченной и виноватой.

Тем не менее она успела с юмором рассказать Людовику о партии королевского бриджа, рассмешила его и в результате начала смеяться сама. Но тут же и рассердилась на себя — она никогда не могла полагаться на прочность или продолжительность своих эмоций, мгновенно переходя от одного настроения к другому; единственно незыблемыми были только ее счастливые чувства. «Вот в этом и заключается все ее очарование», — говаривал Квентин.

Увы, Фанни еще не знала, что пробудила страсть «пернатого хищника» — хозяина дома, отца своего возлюбленного, и что эти несколько недель, посвященных семейному долгу, превратили ее в роковую женщину. Сам факт, что это произошло в Туре, а не в Париже, делал внешний мир с его неурядицами каким-то нереальным. Хотя Фанни знала, что это ощущение нереальности происходящего в высшей степени обманчиво.

Фанни и Людовик явились на ужин последними. Спускаясь по лестнице, они смеялись и шутили; он поддерживал тещу под локоток с покровительственным видом заботливого зятя. Остальные члены семьи с мрачным подозрением воззрились на веселую запоздавшую парочку, явно желая пристыдить или обличить их неизвестно в чем. На секунду Фанни обуял неудержимый хохот — совершенно неуместный в этой столовой, куда в довершение всего тайком пробрался пес Ганаш, улегшийся под стулом Людовика.

— Вы сегодня последние! — недовольно проворчал Анри, но все-таки встал при появлении Фанни. — Филипп, вам не кажется, что ваша сестра, моя супруга, сегодня не такая уж багровая?

— Сандра совсем не багровая, — успокоила его Фанни. — По-моему, сегодня у нее бледное, скорее даже слегка голубоватое лицо. А завтра…

Тут она услышала любезный голос Анри и подивилась его словам:

— …а завтра, если вам и впрямь удастся выстовать против бесстыдного жульничества моей супруги и нашей бедной «королевы», Сандра и вовсе пожелтеет…

— Правила бриджа в этом доме кажутся мне

весьма сомнительными, — заявил Филипп. — А я, слава богу, знаю, о чем говорю. Однажды в юности мне довелось всю ночь играть в покер с Джеком Уорнером, королем голливудского кино и голливудского же покера. Я вам разве еще не рассказывал? — И, не дожидаясь ответа, который, как он знал, будет негативным, ибо он только что выдумал этот рассказ, начал: — Там собрались три акулы покера — собственно, три короля Голливуда, — которые допустили меня к своему столу лишь потому, что заключили между собой пари: кто из них обыграет меня вчистую, до последнего доллара. Я тогда многих раздражал в Голливуде, потому что не добивался ролей в кино, — со смехом добавил он. — Просто со мной была женщина — очень красивая, но оставшаяся без гроша, а у меня в тот момент водились денежки. Короче…

Это «короче» вовсе не означало, что Филипп намерен сократить свой рассказ, но тут его очень кстати прервал Ганаш, которого нечаянно пнул Людовик, нервно перебиравший ногами под стулом. Визг собаки и всеобщий испуг прервали повествование, но вызвали неожиданную реакцию Анри Крессона.

— О, какой прекрасный пес! Ты откуда взялся?

Решил нас приручить, не спросив разрешения? Ты прав: в этом доме приятно жить, не правда ли, Фанни? — спросил он с плотоядной усмешкой соблазнителя, заставившей ее похолодеть.

— Это самый лучший дом, который ты мог выбрать, — ответила Фанни, погладив Ганаша, и тот, трепеща от радости, обежал вокруг стола, чтобы представиться всем, кто там сидел.

Однако при этом он не подошел ни к Филиппу, ни к Мари-Лор, словно почуял их равнодушие, зато предусмотрительно остановился у ног хозяина дома, и правильно сделал, ибо тот после минутного приступа благоволения уже предвидел крики и возражения Сандры, дрожавшей за свои безделушки, особенно за те, что весили не меньше тонны.

«Ну и ладно, я ведь все равно разведусь, — подумал Анри, — а Фанни, похоже, любит собак. Ах, какая женщина! Какая женщина!»

И он посмотрел на Ганаша: веселая готовность к дружбе, которую он прочел в глазах пса, была такой приятной противоположностью неизменно суровому взгляду Сандры. «О, как я одинок в этом доме!» — подумал он и даже прослезился от жалости к самому себе.

— Хороший пес, — сказал он, нагнувшись к

собаке, чтобы скрыть слезы. — Ну а как тебя зовут? Мартен, как его зовут? — внезапно заорал он, чтобы прийти в себя и показать, кто в доме хозяин. — Вы знаете его кличку? Только не вздумайте сказать, что вы впустили под мою крышу неизвестное, безымянное животное!

— Его зовут Ганаш[25], месье, — бесстрастно ответил Мартен.

Это торжественное объявление вызвало у Фанни громкий, неудержимый хохот. Хохот, который, казалось ей, она сдерживала с самого момента приезда, совершенно неуместный в тяжеловесном, причудливом интерьере гостиной Крессонады, — во времена Средневековья от такого кощунственного хохота рухнули бы стены.

Мартен удалился в кухню, донельзя шокированный поведением хозяина, растроганного любовью грязного, вороватого пса. Впервые со дня появления в этом доме он с симпатией подумал о Сандре — вот уж кто мгновенно вышвырнул бы этого Ганаша на улицу!

Но не успел он полностью оценить все достоинства Сандры, как властный оклик Анри призвал его обратно в столовую, и Мартен мгновенно, как в некоторых мультиках, возник там, с десертом на подносе. Все присутствующие, включая

Анри Крессона, выглядели подавленными (хотя неудержимый, заразительный смех Фанни мог бы разрядить атмосферу). Анри — «пернатый хищник-претендент» — не нашел в себе достаточно сил и решимости, чтобы известить Фанни прямо здесь, нынче вечером, о том, что он намерен развестись, после чего они поженятся.

Его все выбило из колеи — и неожиданная симпатия к Ганашу, и усталость, и обильная выпивка, и рассказ о «королевском» бридже, и необходимость слушать байку о покере с этим Уорнером. Кстати, зря они не поаплодировали голливудскому триумфу Филиппа, хотя тот и не завершил свой рассказ, но, похоже, все остальные члены семьи тоже были слегка не в себе.

Итак, Анри закурил сигару — последнюю за нынешний день, как он думал. Филипп не курил, зато Людовик привез из своей психиатрической клиники какие-то странные сигареты, несомненно предназначенные только для пациентов, — от них несло то эвкалиптом, то мармеладом. Те немногие избранные, кому довелось попробовать такие, докуривали их до конца, но больше уже никогда к ним не прикасались.

Итак, Анри решил подождать до завтра, а там уж объявить Фанни, какое будущее ее ожидает.

Несмотря на усталость, он пылко поцеловал ее руку и шепнул на ухо: «Верьте!» — но она, как истинно светская дама, изобразила удивление.

— Ну, спокойной ночи! — объявил он остальным и обратился к Людовику: — Говорят, ты разбил окно в комнате твоей мачехи?

— Да, и чуть было не оторвал голову «королеве», — со смехом добавила Фанни.

Вот уложить бы ее в постель рядом с Сандрой, красное и белое…[26]

— И кто же это на меня настучал? — нахмурившись, резко спросил Людовик. Мартен, состроив постную физиономию, покосился на Филиппа.

— Лично я спал, — высокомерно заявил тот.

— И все-таки — кто?

Мари-Лор залилась краской ярости и стыда. Она занималась доносительством еще в коллеже, а в лицее Сюффрен одноклассники после подобной истории объявили ей бойкот.

— Послушайте, — поспешно сказала Фанни, — на нашем приеме с удовольствием выступил бы маленький оркестр из Тура.

Анри пожал плечами:

— Неужели вы сочли его достойным такой чести? Я ведь мог бы выписать самых модных музыкантов из Голливуда или Лас-Вегаса, знаете

ли. С учетом тамошних связей Филиппа…

— А мне показалось, что турские музыканты прекрасно играют, — заметил Людовик. — Я вчера как раз проходил мимо и слышал.

— А я, — громогласно заявил Анри, — приглашал их к себе на завод, и они играли у нас в актовом зале, очень даже хорошо, и чисто, и с большим усердием.

— Если они будут так же усердствовать здесь, то в гостиной рухнет Венера Милосская, — с улыбкой сказала Фанни, — она и так качается при самом легком сквознячке. А это опасно для гостей. Может быть, ее выводит из равновесия отсутствие рук?

«Она обо всем успевает позаботиться!» — с умилением подумал Анри.

— Что-то я вас не понимаю, — раздраженно бросила Мари-Лор.

— У этой бедной дамы нет рук, разве вы этого не знаете? — ответил Филипп, не скрывая насмешливой улыбки.

Мари-Лор встала:

— Ну разумеется, знаю. Перестаньте меня поучать, Филипп.

И Мари-Лор, игнорируя усмешки Фанни и всех остальных, вышла из комнаты, оскорбленная

до глубины души сомнениями окружающих в ее эрудиции, тем более что эрудицию эту никак нельзя было назвать глубокой.

— Я смотрю, твоя жена сверзилась со своего пьедестала, — сказал Анри сыну и скомандовал Ганашу: — А ну иди за мной; если мы с тобой пройдем через комнату Сандры, это плохо кончится.

«Слава богу, я с ней развожусь», — подумал он. И поднялся на второй этаж, сопровождаемый собакой.

Ганаш предпочел бы остаться с Людовиком, а еще лучше — с этой дамой, такой ласковой, такой благоухающей, но грозный приказ Анри заставил пса следовать за главным хозяином, иначе не миновать бы ему ночевать на улице, под дождем.

Итак, Людовик и Фанни остались наедине, и тут их, непонятно почему, обуял смех. Они вышли в сад, сели на самую дальнюю скамью и наконец слегка успокоились; вскоре к ним присоединился Филипп, и они увидели, как в комнате Анри погас свет. Почти сразу же свет зажегся в спальне Сандры. Сидя в темноте, все трое зачарованно, восхищенно и весело смотрели вокруг. Жизнь снова вступила в свои права. Они переглянулись — дружелюбно, но без умиления, и во взгляде Филиппа мелькнуло что-то близкое к сочувствию.

— Не дай бог, если моя сестрица обнаружит в доме Ганаша… — сказал он.

13

И вот именно в этот момент Ганаш, на верху блаженства, впервые огласил темноту звонким лаем, вызвав смех у сидевших перед домом. В ответ все окрестные собаки загавкали еще громче, особенно когда раздались крики разгневанной Сандры. Именно в момент этого переполоха Филипп заметил, что рука Людовика лежит на бедре Фанни. Первый же лай Ганаша позволил ему все понять.

Догадка Филиппа об отношениях Людовика и Фанни оказалась тем более безошибочной, что она была подсказана лишь его интуицией гуляки и бездельника, а также любовью к интригам. Рука Людовика, блуждающая по бедру тещи в момент всеобщего переполоха, поведала ему куда больше, чем самая непристойная сцена. Люди, публика, общество — короче, другие — доверяют своей интуиции именно в силу ее неопределенности, вернее сказать, ее отличия от банальных впечатлений, банальных фантазмов: поцелуй в губы средь бела дня может показаться безобидной шуткой, зато несколько слов, произнесенных шепотом на ухо в темноте, наводят на подозрения. По телевидению или в кино мы видим незаконную любовь во всем ее

невообразимо грубом реализме. А в реальной жизни предпочитаем скорее нечаянно застать, нежели точно узнать или, тем более, ясно понять. Очень часто люди испытывают ложные ощущения куда острее, чем подлинные, словно страх перед обманом окутывает вымышленные факты неким ореолом и делает их, в силу самого этого неправдоподобия, более неоспоримыми.

То, что Фанни почувствовала во взгляде Филиппа, могло бы скорее превознести ее, нежели обесчестить. Во всяком случае, она поняла, что теперь он считает непреложным фактом ее связь с Людовиком, но не находила в себе ни сил, ни возмущения, чтобы разубедить его. Небеса то ли вспыхнули, то ли погасли, все вокруг стало фальшивым, предательским и… подлинным.

Да, правда была здесь, между твидом Людовика и шелком ее платья, — сексуальная правда, что блуждала между ними, в этом взгляде, никогда не поднимая потупленных глаз: смерть Квентина, ее редкие любовники, морские курорты, флирт и развлечения, чем дальше, тем более редкие. И вот сейчас этот мифоман, все понимавший превратно, вдруг заставил Фанни осознать снедавшее ее желание и неодолимую тягу к этому мальчику, который вообразил, что влюбился в нее навеки,

хотя она и помыслить не могла, что он способен на такое.

Этот мальчик, с неоглядной храбростью простых душ, искренне любил то, чего желал, целиком принимал то, что его воспламеняло, — словом, бросался в омут очертя голову, не раздумывая. С такой наивной верой и отвагой никто — или почти никто — в наш прагматичный век уже не мог или не смел идти к желанной цели.

Смех Филиппа постепенно замирал. Зато смех Людовика, словно наливаясь какой-то таинственной силой, становился все более свободным, более звучным, более мужским, более нежным. А ее собственный — что это с ним? Он показался Фанни типично светским, фальшивым, немолодым — ничего общего со смехом обоих свидетелей, — жиденький и нелепый, как она сама. В нем уже не было прежней свободы и молодого безумия, отличавших ее в юности, — только робость. Зато этот новый смех, этот новый голос Людовика свидетельствовали о его мужественности — силе, решимости, но также и неосмотрительности, которая была лишь ценой его желания, но ни в коем случае не свойством его натуры и ни одной из его масок.

* * *

Последующие часы — казалось, сулившие долгий веселый вечер — свелись к пятнадцати минутам из-за ложного открытия Филиппа и подлинного — Фанни.

Один только Людовик пребывал в самом что ни на есть радужном настроении. Его не огорчило даже то, что Фанни отодвинулась, когда он прижался к ней плечом. Он-то был уверен, что завоевал, и закрепил, и назвал поименно все, что их теперь связывало. Да, Фанни поняла и приняла его чувства, но боязливо отстранилась от его твида, словно от кокона, с которым, впрочем, давно уже свыклась. Просто Людовик не принял во внимание взгляд своего дяди — вернее, названого дяди, короче, просто Филиппа, — который был в его глазах олицетворением скуки и мифомании, но которого нежно любила Сандра. Заблудшая овца, трепло, но при этом в общем-то *кайфовый* мужик.

Людовик так и не отделался от множества давно устаревших выражений, усвоенных в интернатах, закрепленных в парижских кафе, а потом, как ни странно, обнаруженных в психиатрических клиниках, сменивших те, прежние заведения. Он говорил «клевый чувак», что озна-

чало «отличный парень». Он говорил «забойная фемина!», имея в виду внешность женщины. И называл «крутым мэном» своего фабриканта-отца. Правда, Людовик уже давно никак не высказывался по поводу своей супруги Мари-Лор — «потрясающей девушки», как он назвал ее при первой встрече. Что касается Сандры, она была для него «классной бабой». Одна только Фанни избежала всяческих характеристик, всяческих эпитетов, всяческих обсуждений. Что в данном случае было крайне подозрительно.

По вечерам после ужина «дети», как Сандра называла Людовика, Мари-Лор, Филиппа и Фанни, обычно прощались поцелуями в щеку; это был один из редких моментов инстинктивного сплочения, — такое чувство возникает у людей, которые живут под одной крышей, когда над ними довлеет тягостное присутствие властной хозяйки дома. Беззаботность, страх, непонимание — наследие детских лет — способны, как и солидарность, объединять также и взрослых людей. Но вот знаменательный факт: тем вечером Филипп, вместо того чтобы чмокнуть Фанни в щеку, поцеловал ей руку, как зачинщице — а значит, особе, достойной уважения в его глазах, — новой драмы, столь неожиданной в этой глуши, с

ее гнетущей роскошью и скукой. И второй знаменательный факт: целуя в плохо выбритую щеку своего зятя Людовика, Фанни держалась так напряженно, что это сразу бросилось в глаза Филиппу и стало еще одним свидетельством ее виновности. А Людовику это вечернее прощание позволяло коснуться губами мягкой, душистой щеки Фанни, благоухавшей парфюмом, который он впервые вдохнул на Турском вокзале и который с тех пор считал единственным женским ароматом, имеющим право на существование.

Тем вечером Людовик особенно остро ощущал себя юным, счастливым, влюбленным; чувствительность его как будто притупилась, и теперь слепота по отношению к своему чувству казалась уже не такой фатальной, как обычно.

Ему хотелось смеяться. «Смех — признак любви», — сказал кто-то; и в самом деле, ничто так не высмеивает или не убивает мораль, как смех. Людовик убрал руку с талии Фанни, которой машинально коснулся, обнял ее за плечи, придвинулся вплотную, нагнулся к ее лицу, хотя ее щека и так уже была совсем близко, и потянулся губами к ее рту. Она не могла оттолкнуть его, резко отстраниться, чтобы избежать столкновения лбами или подбородками, единственное, что ей

оставалось, — это слегка повернуть голову или чуть откинуться назад, чтобы он мог поцеловать ее только в краешек губ. Что Фанни и позволила ему сделать из чисто эстетического опасения и что Людовик сделал совершенно естественно, под взглядом все того же Филиппа, который считал себя шпионом-психологом, а не вульгарным соглядатаем. Впрочем, поцелуй был максимально беглым, потому что Фанни тут же отвернулась, промолвив ледяным тоном: «О, пардон!» — и вышла. Филипп, насвистывая сквозь зубы какой-то насмешливый мотивчик, последовал за ней, а Людовик последовал за Филиппом.

14

Сандре Крессон почудилось, будто она слышит собачий лай и клацанье когтей по паркету вместе с тяжелой поступью супруга. Но сама мысль о том, что в этих покоях à la Людовик XV могла очутиться собака, вызвала у нее легкий смешок.

— Вы знаете, Анри, мне кажется, я схожу с ума…

Из соседней комнаты донесся голос ее мужа:

— Вот как?..

В его голосе не слышалось ни удивления, ни гнева. Нужно заметить, что бедняга очень устал от переживаний. Сандра села, опираясь на подушку.

— Мне почудилось, будто какая-то собака лает и даже проходит через мою спальню, — сказала она, прыснув со смеху.

— Да что вы говорите!..

— Вы мне не поверите…

— Молчи, молчи! Лежать! — крикнул Анри. — Лежи на кровати и молчи!

Сандра, потрясенная этими словами и этим «тыканьем», в ужасе послушно замолчала.

— Извините, но… лежать, говорят тебе, лежать! — донесся до нее приглушенный голос Анри.

— Боже мой, Анри, вы прекрасно знаете, что я не могу ходить, увы…

— Да кто вас просит ходить, черт подери!… Уф, еще раз извините, Сандра, я жутко устал, и мне, наверно, приснился страшный сон. Сейчас закрою дверь, чтобы не мешать вам спать…

И священная дверь между двумя спальнями, неизменно открытая, дабы соединять эти два одиночества, с грохотом захлопнулась. К этому звуку добавилось все то же клацанье, приглушенное и непонятное, — разве что Анри стал увлекаться кастаньетами. От него можно было ожидать чего угодно… **15**

Комната Фанни, открытая, ежедневно проветриваемая, заваленная множеством красивой одежды, лежавшей на стульях и на ковре, уже приняла провинциальный вид; запахи трав и большие листья платана дерзко врывались внутрь между распахнутыми ставнями, открывавшими взгляду матери Мари-Лор темно-синее небо в брызгах падающих звезд и влажную землю, которая источала свой всегдашний нежный аромат.

Филипп сопроводил Фанни до самой двери комнаты, поцеловав ей напоследок руку с двусмысленной улыбочкой, которая привела ее

в крайнее раздражение. Но он и не подумал обижаться: завтрашний день принесет новые комедии. Итак, Фанни прошла по комнате, бросила на себя в зеркало тревожный, недовольный взгляд и села у окна, облокотившись на подоконник. Большой лист платана, улучив момент, приник к ее лицу — мягкий, чуточку шершавый, как пиджак Людовика… лукавого, готового на все, обольстительного Людовика, этого юного дурачка, в одно мгновение ставшего мужчиной, который не позволил Фанни, при всей ее опытности, уклониться от этого плеча, от этой руки, от этого шага вперед или назад, от этого неловкого шага, вынуждавшего ее избежать его поцелуя.

И вдобавок, вместо того чтобы как-то спастись от нескромного взгляда Филиппа, она прижалась к своему возлюбленному, своему злополучному зятю! А тот, освобождая ее, снова коснулся губами ее лица, и, не будь с ними рядом этого назойливого кретина Филиппа, они могли бы еще немного посидеть вдвоем под этим беспечальным сентябрьским небом.

И тут в дверь постучали. Фанни громко сказала: «Войдите!» — думая, что это Филипп, или Анри, или какая-то очередная глупая выходка Сандры. Но нет: в комнату уверенно вошел Людовик —

вошел и с видом заговорщика приложил палец к губам. Возмущенная Фанни все же понизила голос:

— Что вам здесь нужно? Вы можете мне объяснить, по какому праву?..

И осеклась, почувствовав, насколько это нелепо — задавать такие вопросы молодому человеку, тридцатилетнему, хотя она никогда не думала о Людовике как о зрелом мужчине, не говорила с ним как со взрослым. Да и с кем могла бы она так говорить, кроме Квентина — Квентина, который рассмеялся бы, увидев, как Фанни, в смятом платье, защищает свою честь перед каким-то молокососом, явно сбежавшим из психушки?!

Людовик стоял перед ней, с пиджаком на руке, с растрепанными волосами, с блестящими глазами, и она вдруг с удивлением поняла, что никогда не замечала, как он красив. «Да ведь он красивый мужчина, очень красивый мужчина», — холодно подумала она. Прежде она находила в нем сходство с Билли Бойдом[27], сейчас видела перед собой князя Мышкина.

Тем не менее она, «как всегда», усадила его в изножье, а сама отсела на другой конец кровати. Длинные ноги Людовика доставали до ковра на полу, свои Фанни поджала под себя. Как бы это

объясниться с ним поделикатнее, не обидев?

— Людовик, мне не хотелось бы унижать свою дочь, — начала она. — Она такая, какая есть, тут ничего не поделаешь, но…

— Она хуже всех, — прервал ее Людовик.

И устремил взгляд на ноги Фанни.

Та нервно укрыла их, попутно отметив кошмарное уродство скользкого покрывала. Людовик с холодной усмешкой посмотрел ей в лицо.

— Оно всегда было таким, — сказал он, — даже совсем новое. Я его помню с самого детства. Тетя Марта купила его к своей свадьбе, она выходила замуж за Андре, папиного старшего брата. Андре погиб в сороковом году здесь, в наших краях, во время отступления, вместе с другим братом — Марселем.

— Какой ужас! — растерянно пробормотала Фанни.

— И наш отец унаследовал завод в свои девятнадцать лет. Это он выстроил тот уродливый корпус на равнине и этот дом. Помните, он сказал: «Первая мировая хотя бы делала из людей героев, но эта!..» Вы должны ему простить эти слова… Их вдовы — мои тетки — вернулись к своим матерям разбогатевшими, но успели внести свою лепту в украшение этого дома. Потом здесь жила моя

мать, — правда, я ее не знал, слышал только, что она насмехалась над этим «украшательством». Ну а позже появилась Сандра — тут сыграло роль соседство наших владений, да и деньги, конечно, и она вышла за отца.

— Бедная Сандра… — сказала Фанни; к ней уже вернулось хладнокровие. — Она здесь несчастней всех, разве нет?

— Нет, — твердо возразил Людовик, — сначала самым несчастным был я, зато теперь я самый счастливый человек на свете.

— А почему вы были так уж несчастны? — строго спросила Фанни, но ее тон как будто ничуть не испугал Людовика.

— Потому что никто меня не любил и никто мной не занимался.

— А вы не могли бы рассказать мне о своих детских злоключениях завтра?

Людовик так резко соскочил с кровати, что Фанни съехала вниз по скользкому покрывалу. Он успел подхватить ее и снова усадил на постель, точно куклу. В распахнутом вороте его белой рубашки виднелась загорелая шея, блестящие волосы отросли почти до плеч, а стройное тело… а упрямый, прохладный рот…

Видимо, память Фанни пришла в полное смя-

тение или в полное расстройство, позволив ей приникнуть к нему, и вскоре ее лицо было покрыто долгими, умоляющими поцелуями, сладкими для него и для нее. Их губы блуждали по их телам, смешивая желание и благоговение, порыв и уступчивость, робкий отказ и упрямую покорность. Странное действо, творившееся в этой странно потемневшей и призрачной комнате, где они оба трепетали так же сильно, как лист платана, как звезды, падающие с ночного небосклона.

* * *

Когда Фанни проснулась («Да спала ли я?» — подумалось ей, как после всех *настоящих* ночей любви), Людовика рядом уже не было, он ушел. На какой-то миг Фанни пронзила ужасная мысль: он больше не придет, он ее покинул — *осмелился* покинуть, даже не предупредив! И этот страх — признала она, зевая и потягиваясь, — был страхом собственницы, лишившейся своего достояния, и несомненным признаком любви. Она несколько раз повторила: «Несомненным… да, несомненным», пытаясь облечь свои чувства в слова, но ощущая лишь томную, сладкую усталость, владевшую всем ее телом.

Чувственность Фанни лежала в ее верности.

И утра после ночей с Квентином никогда не походили на все последующие, кроме нынешнего — впервые, через много лет после тех, — и это благодаря мальчишке, годившемуся ей в сыновья! Она и думать не хотела о том, что Людовик намного младше, что он муж ее дочери Мари-Лор, так уронившей себя в ее глазах, и что его считают полупомешанным. Ей вспомнилось, как он сказал: «Я вас люблю», когда она подчеркнула, что знает: не он вел ту злополучную машину в день несчастного случая, и уж она-то об этом не забыла. «Я вас люблю»… — эти слова он не уставал твердить и вслух, и шепотом, особенно нынешней ночью. Так что же такое мужчина, который вас любит, если не этот, с его небритыми щеками, с его молчанием, перемежаемым невнятными, но нежными словами, с его нетерпением и страхом, попеременно владевшими им?!

Фанни тщательно выбрала сегодняшний наряд — платье, сшитое для нее известным кутюрье, который, как она знала, не любил женщин, но мог всех убедить в обратном благодаря этому своему шедевру. Обычно она неохотно вставала и принимала ванну, ей не хотелось смывать запах своего любовника, смешанный с ее собственным. И сегодня, когда она спустилась по

лестнице и увидела за столом всех обитателей Крессонады, ее не удивили и не встревожили всеобщие комплименты, которыми они ее осыпали. Эти банальные похвалы, скорее, позабавили ее. Она не удостоила любезной улыбкой Людовика, который встал, чтобы усадить ее; загорелый, румяный, темноволосый, с томными глазами и приоткрытым ртом, он слегка наклонился к ней, и его веки затрепетали под ее взглядом.

— Ах, какая женщина! — воскликнул ее ровесник, «пернатый хищник», единственный, кого она могла бы совратить, не рискуя вызвать настоящий скандал.

— Вот именно, — подхватил Филипп без всякой задней мысли, ибо он, несмотря ни на что, любил женщин и ему тоже когда-то случалось баловать некоторых из них мелкими услугами за завтраком. На какое-то мгновение он испытал смутную тоску по тем временам.

— Да, высший класс! — признала Мари-Лор; зависть, внезапно прозвучавшая в ее голосе, была лишена всякой двусмысленности.

— И правда! — вскричал Людовик с бурным восторгом, который мог выдать его чувства, не будь он таким искренним.

«Она моя! — думал он. — Еще два часа назад

она лежала в моих объятиях, говорила мне...» И его душили слезы благодарности, гордости и счастья.

— После завтрака я вас повезу на осмотр пещеры Со. Надо же показать Фанни что-нибудь, кроме Тура, — объявил Анри и, увидев вопросительные взгляды присутствующих, добавил: — Нынче воскресенье, и я вызвал с завода свой «Бичкрафт»[28]. До сих пор она видела только здешние магазины.

— Ну, зато, я думаю, Фанни уже видела самое лучшее, что есть в Крессонаде, — объявил Филипп с такой восторженной улыбкой, что никто не уловил скрытого ехидства этой фразы, даже та, в кого он метил.

Да и чего было опасаться — после такого изумительного чая?! Что это за сорт? В ответ на ее вопрос, Мартен, зардевшись, назвал «Липтон». Поистине, этим утром Фанни, сама того не замечая, заставляла краснеть всех, кто сидел за столом, от невольной жгучей зависти, какую иногда вызывают у окружающих счастливые баловни судьбы.

И Фанни, и Людовик, не сговариваясь, старались избегать друг друга во время этого странного полета над Туренью, коварно задуманного Ан-

ри Крессоном. Такую экскурсию он до сих пор устраивал лишь для самых богатых японских фабрикантов или самых сонных корреспондентов. Перелет — с немилосердной тряской — длился два часа, тогда как поездка на машине заняла бы не больше тридцати минут. Но самолет был секретным оружием Анри Крессона, хотя «пернатый хищник» так и не освоил искусство пилотирования («Слава святому Христофору!»[29] — восклицали его знакомые и подчиненные). Таким образом, Фанни провела замечательный, хотя и несуразный, день. Прогулка ей нравилась; усталость после ночи любви и присутствие Людовика, сидевшего позади нее, сообщали приятное ощущение безопасности. Как и большинство женщин ее возраста, она видела в каждом из своих любовников прежде всего защитника, — чувство, давно уже незнакомое следующему поколению.

— Как это прекрасно… как прекрасно! — то и дело восклицала Мари-Лор — иногда к всеобщему изумлению, исключая Филиппа, который давно подметил, что обманутым женщинам, знают или не знают они об этом своем статусе, нравится разыгрывать восторженных маленьких девочек.

Впрочем, она была права: старинные замки, реки, холмы, голубое небо на исходе лета, вся Ту-

рень, лежавшая внизу, раскрывали перед ними свои сокровища, и даже технические пояснения Анри не портили эту картину. «Как же прекрасна Франция, — думала Фанни, — и как прекрасна моя любовь…» В салоне пахло вереском и жасмином: самолет иногда снижался так, что их аромат проникал внутрь и им можно было наслаждаться.

В какой-то миг, при воспоминании о ночи с Людовиком, Фанни обуяло такое острое желание, что она обернулась и села рядом с ним, не смея, впрочем, коснуться его даже кончиком пальца. И это табу, эта невозможность станет одним из самых сексуальных воспоминаний о ее любовном приключении. Внезапно она подумала: «Он безумец, а я развратница». Эта мысль, никогда, ни разу доселе не посещавшая ее, вдруг встала перед ней с убийственной ясностью ложных представлений, которые можно примерять к себе лишь в случаях усталости и сомнений, доведенных до крайности. Она посмотрела в сияющие, устремленные на нее глаза. Наверное, ей нужно было сейчас искренне ненавидеть его, чтобы он это почувствовал, чтобы его взгляд померк, помутился, чтобы она вернулась к прежнему, более реальному образу себя самой и Людовика —

иными словами, к образу заблудшей женщины, оказавшейся вдали от Парижа и влюбившейся в деревенского верзилу, комплексующего из-за своей одинокой жизни.

16

До знаменательного праздничного приема оставалось еще шесть дней, и в доме все без исключения задавались одним и тем же вопросом: хватит ли Сандре упрямства, чтобы встать и выйти к гостям? Она грозилась домочадцам сделать это, невзирая на багровый цвет своего лица и на шумные возражения Анри.

Людовик и Фанни встречались каждую ночь, после совместно проведенного дня, и Филиппа это уже начало нервировать. Но он отлично знал, что в этом провинциальном кругу боязнь скандала была куда сильнее любопытства. А еще он знал, что рискует быть выброшенным за дверь все тем же Анри, доселе необыкновенно любезным и обходительным; ему уже не раз доводилось попадать в такие ситуации, и это очень скверно кончалось для свидетелей (в том числе и для него самого), так что…

В конечном счете самым прозорливым из гостей Крессонады оказался пес Ганаш. Пленившись с первой же минуты женщиной, которую все звали Фанни, — воплощением аромата, мягкости и женственности, — он очень скоро понял, что она делит свою привязанность — конечно, временами — между двумя обожателями, причем

сам он оказался на втором месте, после худого верзилы по кличке Людовик, прекрасного бегуна на длинные дистанции, доброго, но слишком рассеянного. Двое других хозяев его вообще не замечали. Так что единственной заботой Ганаша была необходимость уворачиваться от коварных пинков Мартена. Ну а самым главным хозяином, которого он обрел в этом просторном, неожиданно обретенном жилище, был человек, называемый Анри, с громовым голосом и властными замашками (хотя в душе и сентиментальный), слишком часто отсутствующий, но, несомненно, повелитель здешних мест. Повелитель над всем и всеми, кроме другого человеческого существа, обитающего — увы! — слишком близко от комнаты хозяина. Это была дама, испускавшая тяжкие вздохи и еще другие звуки, доселе никогда им не слышанные. Вот там-то и таилась главная опасность, не напрасно же хозяин Анри научил его избегать ее комнаты и пробираться к нему на ночь через узенькую дверцу коридора. И только в саду, на террасе и реже в машине хозяин Анри открыто признавал их особые отношения, величая Ганаша «мой старичок», или «милая моя дворняга», или прочими, не менее глупыми прозвищами, и эти слова, произносимые с ворч-

ливой нежностью, согревали сердце бездомного пса. В голосе Анри собака явственно чуяла, увы, человеческие отзвуки своего собственного лая. Они лаяли одинаково, но это заметил только один человек — чуткая Фанни. **17**

Небеса словно издевались над людьми: то баловали их приятным предосенним солнышком, то угнетали тяжкой, удушливой жарой, то заливали грозовыми дождями. Погода менялась каждые два часа, и Турень походила на Нормандию. Все казалось зыбким и в доме, и за его стенами. Не менялся один только Людовик: взгляд Людовика, свитер Людовика, руки Людовика, счастье Людовика — все было здесь, рядом, и Фанни не могла — да и не хотела — отказываться от этого. Нет ничего легче, как возбудить в другом человеке влечение или страсть, но самое жгучее счастье состоит в том, чтобы делать лишь одно — смотреть и видеть. Так вот, никто и никогда не смотрел на Людовика с желанием превратить его жизнь в долгий, нескончаемый подарок. Никто не хотел баловать его, развлекать, развивать его способности. Так же как никто не пожелал лечить его — ни от воображаемого безумия, ни от безнадежного одиночества. Одна только Фанни уделяла ему время, помогала советами, отдавала всю себя.

А широкие тенты над террасой трепетали под ветром, пропитывались солнцем и дождями. Дни проходили один за другим, похожие как две капли воды, и так же проходили их ночи, всегда слишком короткие, всегда слишком желанные. А как же Квентин… как быть с Квентином? Разве имела она право любить кого-то так же пылко, как Квентина? Пройдет еще несколько дней, затем этот прием, на котором Людовик будет реабилитирован (может быть), а потом она уедет, и снова начнет работать, и забудет своего слишком юного, ненормального любовника.

Лежа в широченной, типично провинциальной кровати рядом с уснувшим Людовиком, Фанни плакала, сама не зная почему. От усталости, упрямо думала она, или от неопределенности, от смутного чувства унижения, от сомнений: ведь он ни разу не заговорил о сомнении, об отъезде, о разлуке. Да и она — из деликатности, из боязни — тоже не говорила с ним об этом. Их взгляды сливались так же нерасторжимо, как тела; но когда он раскуривал сигареты — для себя и для нее, — они лежали и шептались, как два подростка, которым запретили курить, и чувствовали себя способными только на это.

Для них оставалась тайной причина страстной

привязанности Ганаша к Анри и Анри к Ганашу; она смешила их, а иногда заставляла вслушиваться в хриплое дыхание Сандры, доносившееся из дальней комнаты, и в мужественный храп Филиппа, этого коварного соглядатая. Такого осведомленного, такого сдержанного и такого раздражительного. А Мари-Лор с удвоенным пылом осыпала сарказмами каждого члена семьи, хотя никто ее не слушал.

* * *

Наконец-то настал вечер торжественного приема, и погода, к всеобщему удивлению, выдалась великолепная. Небо сделало подарок людям, с самого утра встретив их голубизной и на весь день сохранив эту лазурь, только к вечеру мягко перешедшую в темноту.

Мало-помалу гости из Турени, из Парижа и прочих мест прибывали в одинаковых автомобилях, для которых была подготовлена специальная стоянка. Члены семьи в смокингах и вечерних платьях выглядели довольно нелепо. Анри долго колебался между двумя фраками — слишком узким и слишком широким. У Филиппа был всего один костюм, довольно потертый, но безупречного покроя, сшитый в Лондоне еще во времена его светских безумств. Что касается Людовика,

то он надел смокинг, который ему очень шел, хотя и стал чуть широковат после пребывания в клиниках. Он выглядел вполне уравновешенным, а темно-каштановые волосы и блестящие глаза под цвет шевелюры, в сочетании с робкой, обаятельной улыбкой, пленяли, после тайного трехлетнего отсутствия, и старых, и новых друзей Крессонады. «На самом деле он рыжий, как его мать, умершая так рано», — повторял Анри с нелепой гордостью невежества. Теперь, тридцать лет спустя, он признавал, что его юная жена, единственная любовь его жизни, была рыжей до самой смерти, даже если он ни за что не признал бы этого при ее жизни, когда любил ее, когда знал наизусть все оттенки ее темно-рыжих шелковистых волос, в которые иногда зарывался лицом прямо средь бела дня. И доселе кто-то неведомый иногда жалобно, глухо стонал, когда он думал о ней или что-то напоминало ему о ней. Кто-то поверженный и, на его взгляд, почти нелепый, кто-то, кому нечем гордиться…

Примечания

1

Турень — историческая область Франции в долине р. Луары, столица — г. Тур. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

Вернуться

2

Приверженность современным требованиям *(англ.)*.

Вернуться

3

Древнегреческий философ Платон в диалоге о любви «Пир» словами комического поэта Аристофана ввел в нашу жизнь понятие о двух половинках яблока. Согласно Аристофану, некогда люди состояли из двух половинок — мужской и женской, звались они андрогинами, или «мужеженами», и обладали огромной силой. Но, возгордившись, они решили покорить Олимп, за что навлекли на себя гнев Зевса, который приказал своему сыну Гефесту разрубить их на две половинки. С тех пор эти половинки разыскивают друг друга.

Вернуться

4

Фред Астор (1899–1987) — американский актер,

танцор, хореограф и певец, звезда Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино.

Вернуться

5

Эррол Флинн (1909–1959) — знаменитый голливудский актер австралийского происхождения, кинозвезда и секс-символ 1930–1940-х гг.

Вернуться

6

«Jet People» — американский глянцевый журнал, посвященный светской жизни и знаменитым людям, основан в 1951 г.

Вернуться

7

Представители династии Валуа царствовали во Франции с 1328 по 1589 г., затем их сменили Бурбоны (1589–1792, 1814–1830).

Вернуться

8

Имеются в виду т. н. графы Парижские — представители Орлеанского королевского дома, претенденты на французский престол.

Вернуться

9

Поселки, глубинка *(англ.)*.

Вернуться

10

Отрывок из стихотворения Шарля Бодлера «Танцующая змея» (Цветы зла, 1857, XXVIII) в переводе Ирис Виртуалис (Ирины Бараль).

Вернуться

11

Под Аустерлицем объединенные войска Австрии и России потерпели поражение в битве с армией Наполеона (1805).

Вернуться

12

Площадь Клиши находится в Девятом округе Парижа, по соседству с площадью Пигаль; этот район славится своими эротическими увеселительными заведениями и борделями.

Вернуться

13

Спок (*англ.* Spock) — персонаж телесериала «Звездный путь» (США).

Вернуться

14

«J & B» — марка шотландского виски.

Вернуться

15

Пропускной пункт *(англ.)*.

Вернуться

16

Имеется в виду Нойшванштайн — романтический замок с высокими башнями и длиннейшими лестницами, построенный в Альпах по приказу короля Людвига Баварского во второй половине XIX в.

Вернуться

17

Имеется в виду роман французского писателя *Франсуа Мориака* «Клубок змей».

Вернуться

18

«24 часа Ле-Мана» — старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость, проходящая ежегодно с 1923 г. в окрестностях французского города Ле-Ман.

Вернуться

19

Джулиус Генри (Граучо) *Маркс* (1890–1977) — один из пяти братьев Маркс, популярных комедийных артистов (США), игравший в т. н. комедиях абсурда, с метанием тортов, драками, пощечинами и прочими трюками.

Вернуться

20

Поль Элюар (1895–1952) — французский поэт, автор более ста поэтических сборников. Один из них — «Жаркая жажда жить» — вышел в 1946 г.

Вернуться

21

Напротив, вопреки всему *(ит.)*.

Вернуться

22

Отель-Дьё (*фр*. Hôtel-Dieu — *букв*. Божий дом) — здания исторических больниц (как правило, для неимущих пациентов) в некоторых городах Франции и во франкоязычных странах.

Вернуться

23

Имеется в виду знаменитый «Триумфальный марш», исполняемый шестью прямыми трубами, которые композитор Джузеппе Верди заказал к премьере своей оперы «Аида» (1871).

Вернуться

24

Фовизм (дикая живопись) считается самым первым авангардным стилем XX века. Свое название это направление получило в 1905 г. и просуществовало всего несколько лет. Самые яркие представители этого стиля — Анри Матисс, Андре Дерен и Морис де Вламинк — завораживали и

шокировали зрителей кричащими красками.

Вернуться

25

Ганаш (*фр.* le ganache) — тупица, дурак.

Вернуться

26

Намек на роман Стендаля «Красное и черное».

Вернуться

27

Билли Бойд (р. 1968) — шотландский актер и музыкант, известный прежде всего ролью Перегрина Тука в кинотрилогии «Властелин Колец».

Вернуться

28

«Бичкрафт» (Beechcraft King Air) — турбовинтовой самолет американского производства. Первый полет был совершен в 1963 г.

Вернуться

29

Святой Христофор — святой покровитель путешественников.

Вернуться